

ЭЛИ БЕРТЕ

ЗАМОК

МОНБРЁН

История в романах

Эли Берте

Замок Монбрён

«Public Domain»

1847

УДК 82/89
ББК 84(4Фра)

Берте Э.

Замок Монбрён / Э. Берте — «Public Domain», 1847 — (История в романах)

ISBN 978-5-486-03090-1

Эли Берте (1818—1891) – французский писатель, родился в Лиможе, в 1834 г. поселился в Париже. Автор многочисленных авантюрных, приключенческих и исторических романов, многие из которых переведены на русский язык. Наиболее известны: «Жеводанский зверь», «Птица пустыни», «Катакомбы Парижа», «Дрожащая скала», «Потерянная долина», «Оржерская шайка» и др. А роман Берте «Дитя лесов» на полстолетия опережает сюжет знаменитой истории о Тарзане. В этом томе публикуется рыцарский роман «Замок Монбрён», события которого разворачиваются на историческом фоне Аквитании XIV века, потрясаемой страшными бедствиями, грубыми суевериями и необузданными страстями.

УДК 82/89
ББК 84(4Фра)

ISBN 978-5-486-03090-1

© Берте Э., 1847
© Public Domain, 1847

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая | 5 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 35 |

Эли Берте

Замок Монбрён

Часть первая

Может быть, ни одно из учреждений не было столько восхваляемо и превозносимо писателями, как рыцарство. Романы и старые поэмы наполнены баснословными подвигами паладинов, которые для приобретения славы и громкого имени становились защитниками слабого и угнетенного и храбро умирали за своего короля, даму или отечество. Даже после Дон Кихота, забавные приключения которого внесли столько прозы в эту поэзию чудес, рыцарство еще долгое время во всех европейских литературах пользовалось уважением как самое благородное явление веков варварства, предшествовавших новому веку.

К несчастью, когда настоящая эпоха со своим пытливым умом и духом всеобщего анализа захотела изучить историю в источниках, она принуждена была увериться, что все эти легенды и поэтические предания ввели ее в немалый обман. Блистательная фантазмагория исчезла и уступила место печальной действительности: в веках, где прежде видели религию во всей ее чистоте, честь – во всей непреклонности, любовь к отечеству – во всем бескорыстии, – в этих веках не находили теперь ничего, кроме грубого суеверия, животного эгоизма и самых диких, необузданных страстей.

Только время от времени кое-где являлось одно из тех избранных лиц, чьи имена дошли до нас незапятнанными и у кого мужество соединилось с правотой, ум – с истинным человеколюбием. Но на этих людей современники смотрели как на феномены, и в доблестях их видели что-то сверхъестественное. Многие поклонялись им, как святым: грубым поколениям казалось невозможным, чтобы подобные характеры принадлежали человечеству. И в самом деле, так называемые рыцарские добродетели явились впоследствии, когда рыцарство уже не существовало.

Но будем справедливы: пороки феодализма не могут быть приписываемы исключительно ему одному. Чтобы судить об этом беспристрастно, надо обратить внимание на плачевные и гибельные обстоятельства вокруг него. Национальное единство нигде еще не было выработано; распри племен не утихли, и о началах, на основании которых процветают теперь современные общества, никто не имел никакого понятия. Бесперывные распри и насилие каждую минуту подрывали едва возрождавшиеся корни права и долга, и удивительно ли, что посреди этого хаоса животный эгоизм часто владычествовал над стремлениями истинно социальными? В некоторых провинциях Франции варварство Средних веков приняло вид более грозный, чем в других, и вследствие кровавых войн и ожесточения продолжалось дальше. Таковы, например, Гиень, Пуату, Лимузен и все провинции центра и юга, составлявшие древнюю Аквитанию. Эта несчастная страна, так долго оспариваемая Францией и Англией, не питала никакой симпатии ни к той ни к другой. Аквитания, равно как и вся полоса Франции от Луары до Пиренеев, имела в это время свои нравы, обычаи, свой язык и считала себя независимой. Собственно французы, то есть народ, говоривший на северном наречии (*la langue g'oil*), были столь же чужды ей, как и надменные англичане, рыскавшие по ее полям. Аквитания равно ненавидела и тех и других, и бесперывные войны, которых она была предметом и театром, вооружали ее непримиримой враждой ко всему, что только питало мысль покорить ее.

Можно представить себе, как подобное положение дел способствовало развитию эгоизма, честолюбия и пороков. К 1370 году, в то время как Карл V царствовал в Париже, а Эдуард, Принц Черный, – в Бордо, вся Аквитания была добычей страшных бедствий: пашни были нетронуты, деревни покинуты и разорены, население скрылось в города и укрепленные замки.

Одни держались Эдуарда, другие – Карла, а третьи сохраняли благоразумный нейтралитет. Многие феодальные владельцы жили в неприступных крепостях, пользовались смутой и предавались той бешеной страсти к грабежам, которую унаследовали от своих предков – франков. Толпы бродяг, остатки знаменитых полчищ, от которых очистил Францию Дюгесклен, известных под именем живодеров, пройдох, мародеров и прочее, опустошали страну без милосердия. Эти кочующие толпы, всегда готовые служить тому, кто больше даст, с необыкновенной быстротой перемещались из одного конца провинции в другой, совершая безнаказанно свои злодеяния до тех пор, пока им, за предложение услуг, впрочем, весьма сомнительных, даровалось наконец прощение. В это печальное время англичанин и француз, живодер и грабитель-барон были для Аквитании врагами; равно прибегая к всевозможным хитростям и насилию, преступая клятвы, они из конца в конец разоряли и опустошали несчастную страну.

Теперь, когда мы бросили общий взгляд на состояние страны в то время, с которого начинается наш рассказ, необходимо, для лучшего уразумения, сделать краткий очерк главнейших исторических событий того времени.

Принц Уэльский, которому отец его, Эдуард III, король Английский, отдал Аквитанию в полное владичество, страшно отомстил Лиможу. Этот город, воспользовавшись отсутствием принца, сдался Дюгесклену и герцогу Беррийскому. Эдуард был в Ангулеме и мучился от болезни (от которой впоследствии умер), когда ему донесли об этой измене. Еще не в состоянии надеть на себя доспехи, он собрал многочисленную армию и обложил мятежный город. Войдя в него через пролом, он, в припадке страшной ярости, перерезал всех жителей. После этого кровавого подвига, который ужаснул всю Францию и был последним в жизни Черного Принца, он распустил своих воинов, как это делалось в те времена, когда не было еще регулярной армии, а сам на носилках направился в Ангулем. Все было так быстро и неожиданно, что Дюгесклен, расположившийся в тридцати лье от места действия, в Перигоре, не успел собрать достаточно сил, чтоб помочь несчастному Лиможу.

В продолжение трех дней, последовавших за этим событием, все окрестные дороги вокруг разоренного города были покрыты рыцарями, простыми воинами и стрелками всех наций, составлявших английскую армию. Они небольшими отрядами рассыпались по различным направлениям, и горе путешественникам, которые встречали эти буйные шайки, упоенные успехом, – в те времена грабеж был жалованьем и наградой солдат, и они с одинаковым удовольствием грабили друзей и недругов.

Однако к концу третьего дня зловещие шайки исчезли, рассеялись по разным местам, и отряд всадников, который, казалось, принадлежал какому-нибудь соседнему замку, остановился на отдых возле старой римской дороги, которая вела некогда из Бордо в Бурж. Место было живописно, удачно выбрано и находилось на границе Лимузена и Перигора. Обширный лес каштановых деревьев, плоды которых составляли тогда основную пищу жителей, тянулся с левой стороны дороги и терялся за горизонтом. Справа возвышались горы, мрачная зелень которых отчасти оживлялась разбросанными там и сям кучами деревьев. Но нигде не видно было и следов земледелия. Несколько хижин, почерневших от огня и рассеянных по хребту соседней горы, казались вовсе не обитаемыми. В отдалении, на самом конце дороги, виднелся городок и замок Шалю с высокой башней, у которой за двести лет перед тем умер Ричард Львиное Сердце. Исключая всадников, о которых мы упоминали, по всей дороге не видно было ни одного путешественника.

День клонился к вечеру, но палящее солнце жгло с самого утра. Жар, усталость и голод заставили всадников искать отдыха под защитой деревьев. Лошади паслись на густой и чистой траве, росшей вокруг бивуака; их седоки расположились в тени на берегу одного из тех светлых ручьев, которые пересекают страну без помощи водопроводов, подкрепляли свои силы пищей. Начальник отряда, мужчина высокого роста и крепкого сложения, сидел в стороне, подчиненные оказывали ему все знаки глубокого уважения. Он был одет в стальные доспехи. Желая

освежиться, он снял свой шлем с забралом и положил перед собой на траву. Черты его лица были довольно резки, но не совсем жестки. Несколько морщин свидетельствовали о зрелых годах, хотя было очевидно, что он еще полон сил. Все показывало в нем особу высшего звания, а золотые шпоры свидетельствовали, что он был рыцарем. Несмотря на это, на его щите, висевшем на дереве над головой, не было никаких гербов; потемневший шлем был без перьев, и дротик, лежавший в траве на расстоянии руки, не имел никакого флюгера, цвет которого мог бы указать, к какому клану он принадлежит. Вооружение, сделанное из превосходного материала, не было, однако, похоже на то, какое обыкновенно надевают во время сражения или для турнира. Вообще рыцарь был налегке, как любой феодальный барон тех времен, выходящий из замка для какого-нибудь не слишком опасного предприятия или просто для прогулки с вассалами по окрестностям своих владений. Его статный конь, превосходное животное, которое тотчас можно было отличить от других по богатой сбруе, пасся один в стороне, как бы презирая своих грубых собратьев, рассеянных по лугу.

Рыцарь – ибо таково было звание этого человека, – казалось, вполне оценил преимущества избранного бивуака. С самого утра он не сходил с коня и ездил под жгучим июльским солнцем, изнывая под тяжестью своих доспехов и не съев еще ни кусочка хлеба. Зато теперь он сладко отдыхал в свежей прохладе леса, у ручья, катившегося по белому кремнистому дну. Перед ним, на старом большом пне, подле одного из тех огромных паштетов, которыми славились наши предки, был поставлен козий мех, заключающий в себе еще порядочное количество доброго вина. Рыцарь оказывал усердное внимание своему столу и, казалось, был в самом лучшем расположении духа. Тень, прохлада, отдых, сытость, и, может быть, еще внутреннее удовлетворение, происходящее от воспоминаний какого-нибудь недавнего подвига, расцвели эту физиономию, от природы несколько суровую, и рыцарь улыбался, разговаривая с единственным собеседником, который был допущен к чести разделить с ним стол. Собеседник представлял разительный контраст с рыцарем. Это был худой, тщедушный молодой человек с нежным лицом, с голубыми глазами; приятный, мелодичный голос его походил на женский. Наряд не имел в себе ничего воинственного, и вместо всякого наступательного и оборонительного оружия у него был один только небольшой кинжал. Полукафтанье его, сделанное в роде туники, было обшито мехом по обычаю тогдашнего времени, дозволявшего даже в самое жаркое время носить меха. Шитый пояс стягивал легкую, стройную талию. Голубой шелковый шарф, повязанный через левое плечо, поддерживал роту – музыкальный инструмент, бывший тогда в употреблении и похожий на шарманку нынешних савояров, только без колеса. На голове молодого человека была бархатная шапочка, вокруг которой вилась в несколько рядов толстая золотая цепь. Из-под шапочки выбивались длинные кудри золотистых шелковых волос и рассыпались по плечам.

Можно догадаться, что этот прекрасный юноша был одним из тех любезных трубадуров, которые, несмотря на суровость эпохи, ходили из замка в замок смягчать своими песнями нравы владетелей и рассеивать скуку их уединения. К этим адептам веселой науки питали еще такое уважение, что даже закоренелые воры и грабители не позволяли себе худо обращаться со странствующими соловьями. Самые гордые и недоступные дворяне старались привлекать и привязывать их к себе подарками, будучи уверены, что от трубадуров зависят их слава и имя. Однако, несмотря на такие преимущества менестрелей, наш рыцарь не слишком много оказывал уважения своему собеседнику и обращался с ним насмешливо-фамильярно.

Остальной отряд состоял человек из двадцати военных людей, крепких и хорошо вооруженных, которые, по-видимому, были вассалами, а может быть, и наемными солдатами рыцаря. Расположившись кружком, они сидели несколько поодаль от него возле источника и уплетали свою провизию с жадностью, помня, что при первом звуке трубы они должны быть готовы к походу. Почти все носили кольчуги и были вооружены мечами, булавами и пиками. Такой многочисленной дружине, без сомнения, храброй и опытной в военном деле, казалось, некого

было бы бояться в этом уединенном месте; однако два всадника под палящими лучами солнца, опершись на дротики, стояли на дороге и смотрели в противоположные стороны со всем вниманием часовых, которые знают, что безопасность товарищей зависит от их бдительности. Эти два воина караулили тяжелый воз, поставленный у самой дороги, отпряженные лошади которого паслись вместе с прочими. Воз был нагружен огромными тюками и бочками, где, по-видимому, хранились съестные припасы, и, конечно, опасение, что какие-нибудь соседние бродяги захотят овладеть этой добычей, заставляло воинственных путешественников принимать такие предосторожности.

Рыцарь и трубадур разговаривали на провансальском наречии, которое, как известно, было в то время в употреблении по всей Южной Франции, в Испании и даже в Италии.

– Клянусь Богом! – говорил рыцарь. – Ты, мэтр Жераль, странно смотришь на вещи! Кто станет считать преступлением отнять у жирных солиньякских монахов некоторую часть их жизненных припасов, тогда как столько храбрых молодцов голодают в моем замке? Они богаты, и им тотчас подвезут новые фуры, нагруженные лучше той, которой мы так ловко овладели! Поверь, эти клобуки не умрут с голода. Что же касается вассалов аббатства, убитых нами, то я спрашиваю тебя: по какому праву эта проклятая сволочь явилась предо мной под предлогом защиты монастырского имущества? Видел ты, как я ловко свалил наземь этого огромного молодца, монастырского стражника, так называемого поверенного Солиньяка, который командовал ими и подстрекал к сопротивлению? Это был славный толчок копьем, любезный трубадур, и, так как ты был свидетелем, я хочу, чтоб ты сделал из этого какую-нибудь балладу или песенку, вроде тех, которые распевают пред благородными дамами Аквитании и Прованса.

– Благородный барон, – робко и с улыбкой отвечал трубадур, – этот поступок не из тех, которые можно воспевать на арфе для забавы дам.

– Что такое, любезный щебетун? – вскричал рыцарь, нахмутив свои густые брови. – Ты мне всегда будешь отвечать одно и то же? Уже три месяца живешь ты в моем Монбрёне, я тебя нежу, допускаю к своему столу, осыпаю подарками, а ты, из благодарности к моему великодушию, до сих пор еще не сложил ни одной песенки, в которой прославил бы мои подвиги и мою храбрость? Клянусь святым Марциалем! Дело не в скудости предметов! Я тебя вожу с собой во все походы и объезды, чтобы ты лично мог убедиться в моих рыцарских заслугах и рассказывать о них потом как о чудесах. Что же! Ты не видишь в них ничего, достойного баллады, какую сочинил ты в честь Бертрана Дюгесклена, этого маленького бретонского рыцаря, о котором столько шумят теперь! В твоём присутствии я разбил этих нексонских горожан, которые не хотели заключить со мной пакт и платить мне дань. Я одним ударом копья опрокинул того, кто носил знамя их цеха, и этот подвиг показался тебе слабым. Я победил на поединке английского капитана, который крал монбрёнских коров в то время, когда они паслись в лесу, и принудил его к постыдному бегству! Клянусь ушами папы! Неужели мне нужно сражаться с великанами и побеждать колдунов, как делали это рыцари блаженных времен? Право, за подарки, которыми я наделил тебя, другие менестрели сочинили бы в мою честь двадцать баллад и столько же сонетов.

– Сир, – с достоинством отвечал молодой человек, – если вы сожалеете о сделанных подарках, я готов возвратить их вам, и эта золотая цепь, которой обязан я вашему великодушию...

Трубадур протянул руку к цепи, рыцарь поспешно остановил его:

– Ну вот, ты уже готов и рассердиться из-за пустяков! Не гневайтесь, сир Монтагю!.. Но скажи, пожалуйста, какого черта ты вечно порицаешь мои дела и говоришь, что они недостойны благородного рыцаря?

Трубадур сделал усилие, чтобы скрыть впечатление, произведенное оскорбительными словами патрона. Важная причина заставляла его терпеть все обиды, какие рыцарь не переставал наносить ему довольно часто.

– Высокородный барон,– возразил трубадур, глядя на рыцаря с большей уверенностью,– мелкому дворянину, как я, неприлично судить о поступках такого могущественного владельца и храброго воина, как вы. Несмотря на это, признаюсь, мне было бы приятнее видеть вас в схватке с англичанами, чем с этими бедными слугами Солиньяка, тем более что грабеж церковного имущества приносит, говорят, несчастье...

– Толкуй себе! Военный человек должен жить войной,– отвечал рыцарь тоном, который не допускал возражений.– Вы, сплетчики красных слов, ничего не понимаете в подобных делах. Отнятое у этих добрых монахов,– весело продолжал он, посматривая с удовольствием на воз, стоявший на некотором расстоянии,– будет благосклонно принято в Монбрёне, и, конечно, лучше этим припасам быть в моих руках, чем в руках нечестивых англичан, возвращающихся из Лиможа, или во власти этих бешеных бродяг, которыми командует капитан Анри Доброе Копье.

При этом имени лицо трубадура вспыхнуло, и он в замешательстве отвернулся. Барон смотрел на него с усмешкой.

– Кажется, мэтр Жераль, громкие воинские подвиги этого молодца, Доброго Копья, больше нравятся племяннице моей, Валерии, чем твои нежные воркования и любовные сонеты?.. А? Но не отчаивайся, мой милый, если Валерия де Латур так высоко поставлена в свете, что не может согласиться отдать свою руку такому бедному менестрелю, как ты, зато этот начальник живоделов ниже ее настолько, что я никогда не соглашусь видеть их вместе.

Жераль поднял голову.

– Сир де Монбрён,– сказал он с твердостью,– я благородной крови, получил ученую степень магистра веселой науки в Тулузе и считаю себя вполне достойным руки всякой благородной девицы. Самые знатные дамы не пренебрегали избирать себе в мужья менестрелей, мне подобных. Но если я не могу тронуть сердце вашей племянницы, то никогда не осмелюсь жаловаться, что она предпочла мне молодого человека, который говорит красиво, храбр и великодушен.

– Клянусь святым Жоржем! Вот истинно христианское смирение,– подхватил барон, смеясь,– но мне сказывали, что вы, господа менестрели, не нуждаетесь в любви дамы, чтобы сделать ее предметом своих вздохов и песен, и очень довольны, когда за десять лет мученической любви она одарит вас улыбкой! Это очень хорошо, мой любезный трубадур. Но что до меня, признаюсь, я скорее согласился бы видеть племянницу за каким-нибудь робким певцом, как ты, например, чем отдать ее руку такому воплощенному дьяволу, как этот предводитель бродяг.

– Почему же так, сир?

– Во-первых, потому что он не дворянин. Никто не знает, кто он такой и откуда. Англичанин ли он, аквитанец ли – дело в том, что ему нет другого названия, кроме прозвища Доброе Копье и имени Анри. Наконец, ремесло его...

– А какое же его ремесло, мессир, если не то же, каким занимается почти все здешнее дворянство? И какая разница между ним и вами, кроме разве той, что у него нет замка, куда бы он мог скрыться со своими людьми после какого-нибудь смелого предприятия? Говорят, он в своей дружине завел такую дисциплину, что нападает только на французские и английские войска и не трогает ни путешественников, ни безоружных крестьян...

– Кой черт! – вскричал Монбрён, глядя на трубадура с удивлением.– Что с тобой стало, мэтр Жераль, что ты с таким жаром защищаешь этого разбойника, Доброе Копье, в которого моя племянница влюбилась не на шутку, видев его всего один или два раза?

– И поэтому самому, мессир,– отвечал со вздохом Жераль,– я стараюсь привлечь ваше внимание к моему счастливому сопернику. Мамзель де Латур объяснилась со мной откровенно. Еще до прихода моего в ваш замок сердце ее не было свободно – она любила Доброе Копье, который спас ее от большой опасности. Она объявила это мне сегодня утром, когда мы

выехали на добычу. Я решил оставить ваш замок и снова начать свою скитальческую жизнь. Как и прежде, я стану ходить из замка в замок и ценою песен приобретать гостеприимство. Я заставляю всех благородных дам Прованса и Гиени повторять имя Валерии де Латур. Когда-нибудь она услышит об этом и будет гордиться своим трубадуром. До меня дойдет весть, что она вспоминает обо мне, и это смягчит горечь моих страданий.

В то время как трубадур говорил таким образом, слезы сверкали на бледных его щеках. Сир де Монбрён, сколько позволяли его характер и привычки, казалось, сам был тронут такой тихой, кроткой горестью менестреля.

– Ты хочешь оставить нас, Жераль! – вскричал он. – Клянусь святым Марциалом Лиможским! Стыдно тебе покинуть Монбрён, пока я не соберу тебе материал для отличной поэмы, которая может стяжать мне похвалу и славу. Впрочем, – продолжал он с некоторой торжественностью, – в одном будь уверен: оставишь ты нас или нет, Валерия де Латур с моего согласия никогда не будет женой этого капитана Доброе Копье. Можешь объявить ей об этом.

Слыша такой решительный приговор, трубадур не мог скрыть выражения невольного одобрения, которое так противоречило усилиям его великодушия. Несмотря на это, он тотчас же возразил грустным и меланхолическим голосом:

– Боюсь, сир де Монбрён, уж не угадываю ли я причины, почему вы отвергаете такого храброго воина и отличного капитана, как Анри?

– Что же это за причина, сир де Монтагю? – с гордостью спросил барон.

– А та, что такого рода человек, женившись на благородной Валерии, конечно, потребует от вас прекрасный замок и латурские владения, которые вы удерживаете теперь как опекун молодой девушки.

Лицо барона Монбрёна изменилось страшным образом.

– Укороти язычок, господин певец! – воскликнул он с запальчивостью. – Иначе я забуду, что трубадуры, подобно шутам, имеют привилегию говорить всё. Впрочем, да будет тебе известно, что замок Латур – мой. Я не позволю ни Валерии, ни кому другому оспаривать его и буду владеть им до тех пор, пока останется при мне хоть один воин и пока я в силах носить латы. Но, – продолжал рыцарь отрывисто, – я знаю, каким путем дошли до тебя все эти глупости! Моя гордая племянница сама рассказывает их тебе, и я понять не могу, откуда она их выдумала! Что же касается вас, мессир, советую вам остерегаться и не говорить о предмете, о котором всякий другой не посмел бы напомнить мне безнаказанно.

В продолжение этого разговора воины, составлявшие от-, ряд, окончили свой полдник и стали седлать лошадей. Но сир де Монбрён не был, казалось, расположен пускаться в путь тотчас же. Он только что оторвался от паштета, и даже козий мех, по-видимому, не имел уже для него прежней прелести.

– Будем друзьями, мэтр Жераль, – произнес он наконец с выражением грубой откровенности, – ты знаешь, как опасно быть моим врагом... Но возвратимся к прежнему разговору. Неужели ты думаешь, что я в самом деле не прав, завязав драку с этим монастырским стражником и отняв у него провизию, которую он вез в Солиньякское аббатство?

– Бог знает, – отвечал молодой человек с улыбкой. – Но сомневаюсь, простит ли вам отец Готье, ваш капеллан, поступки нынешнего дня.

– В самом деле? – прервал рыцарь с беспокойством. – Я хотел сегодня утром заставить его дать мне отпущение вперед, но он упорно отказывал. С некоторого времени этот бешеный капеллан осмеливается противоречить мне, он знает, что, в сущности, я добрый христианин и хочу жить в ладу с церковью и небом! Но посмотрим! Если в этой повозке находится действительно все, о чем мне говорили, так злому монаху можно сделать подарок, который усмирит его. Впрочем, я могу отправить в аббатство Святого Марциала серебряный канделябр, и святые отцы устроят дело с их патроном. Но если в этом случае капеллан будет против меня, то

донья Маргерита, моя достойная супруга, с удовольствием примет в замок припасы, кому бы они прежде ни принадлежали.

Жераль не отвечал ни слова, опасаясь перейти за границы свободы, которую позволяли ему как гостю и трубадуру и которой он несколько минут назад воспользовался против своего обыкновенного благоразумия. Рыцарь, никогда не имевший привычки предаваться продолжительным рассуждениям, встал и пошел бродить по траве с видом совершенной беспечности.

– Здесь хорошо, и мы имеем еще время прибыть в Монбрён прежде ночи, – сказал он веселым тоном. – Ну-ка, мой любезный менестрель, настрой арфу и спой мне какую-нибудь хорошенькую песенку, на манер провансальской.

– Я к вашим услугам, сир, – отвечал Жераль, бросая вокруг себя беспокойный взгляд, – но позвольте заметить, что мы стоим здесь слишком долго, и если за нами есть погоня, она захватит нас прежде, нежели мы успеем укрыться за стенами Монбрёна.

– И ты думаешь, что эта монастырская сволочь может запугать меня? – возразил рыцарь, не трогаясь с места и насмешливо улыбаясь. – Поверь, они не посмеют напасть на меня в чистом поле, как и осадить в моем замке. Пой, я хочу этого. Я очень расположен теперь слушать музыку.

– Но, сир, лошади запряжены в телегу, и ваши люди готовы к походу.

– Лошади и вассалы подождут! Солнце еще жжет, а ты не знаешь, как оно знойно для того, на ком стальное вооружение. Ну, пой же! Кой черт! Кажется, эти прекрасные деревья, этот луг, этот источник – все это может тебя одушевить! Глядя на них, я сам почти готов стать трубадуром.

И, чтобы доказать свой восторг от живописного местоположения, Монбрён страшно зевнул и растянулся во весь рост на траве, стуча и звеня своими доспехами. Трубадур не противился больше. Он взял в руки роту, провел пальцами по струнам, желая убедиться, не расстроены ли они, и извлек несколько гармоничных звуков.

– Что же спою я барону? – спросил он почтительным тоном. – Хотите ли вы услышать «Смерть крестоносца»?

– Нет, это слишком печально! Странно, право! Вы, господа магистры веселой науки, хотите забавлять нас унылыми песнями! Найди-ка что-нибудь повеселее, что бы насмешило меня, где были бы благодетельные феи, покровительствующие рыцарям, да колдуны, да монахи, собравшиеся вокруг шипящей чаши!

Трубадур с минуту молчал. Руки его лежали на струнах, а взоры рассеянно следили за течением прозрачных вод ручья.

– Душа моя печальна и сердце исполнено горечи, – произнес он наконец, тихо подымая голову, – я не найду в моей арфе ни одного веселого звука.

– Пой же что хочешь! – произнес рыцарь раздосадованным тоном, поворачиваясь с боку на бок, ища удобного положения на мягкой траве, служившей ему постелью.

Жераль начал простую, но мелодичную прелюдию. Вскоре голос его смешался со звуками арфы – голос слабый, но верный, выразительный и свежий. Он пел про горечь любовника, которому дама не отвечала любовью, и по меланхолическому выражению лица, по влажности голубых глаз его было ясно, что трубадур не случайно выбрал предмет, столь близкий к его собственным мыслям. Воины и оруженосцы Монбрёна, приготовив все к отъезду, приблизились к певцу и молча слушали эту нежную музыку, едва ли понятную их грубым сердцам. Остановясь на почтительном расстоянии, они с удивлением смотрели на менестреля. Молодой человек, склонив голову к плечу и устремив глаза на небо, казалось, вовсе забыл об окружающих его. Чистый воздух, тишина, свежесть зелени, щебетанье птиц в глубине леса – все это возбуждало его поэтический восторг, и он вполне предался грустной отраде изливать муки своего сердца.

Вдруг самое прозаическое обстоятельство вывело его из состояния восторга и напомнило о бедности действительной жизни. У ног его раздалось звучное храпение. Он опустил голову

и увидел, что барон, уступая усталости, а может быть, и вину, выпитому в порядочном количестве, заснул крепким сном.

Трубадур замолчал и сел на пень, служивший столом барону. Облокотившись головой на руку, он предался размышлениям, которые, без всякого сомнения, не лишены были горечи.

Люди барона, на расстоянии, на котором находились они от двух главных лиц, не могли понять причины внезапно прерванного пения. В недоумении смотрели они друг на друга, как вдруг послышался громкий голос одного из часовых, поставленных на дороге.

– Слушай! – закричал старый щитоносец, которому был вверен этот наблюдательный пост. – Толпа всадников приближается сюда по дороге.

При первом шуме все были готовы и вскочили на коней. Барон, пробудившись, машинально схватился за шлем, потом, не задавая никаких вопросов, взял копье, сел на коня, подведенного пажом, и бросился к большой дороге, повторяя ободряющее восклицание. Жераль, пробужденный мыслью о близкой опасности, закинул на плечо свою арфу и сел на небольшого коня, которого несколько месяцев назад Монбрён отбил в одной схватке с англичанами. Трубадур соединился с общей массой и подъехал к барону, который с беспокойством смотрел по направлению, указанному часовым.

Густая пыль препятствовала ясно различать одежду и вооружение всадников, производивших эту тревогу. Можно было равно опасаться англичан, французов, разбойников и даже вассалов Солиньякского аббатства, которые могли оправиться и одуматься. Но по мере того, как расстояние между двумя толпами уменьшалось, становилось яснее, что приближающиеся не имели никакого военного вооружения, потому что ни один луч солнца не сверкнул в пыльном облаке, их сопровождавшем. Итак, это были простые путешественники, и в их мирных намерениях не оставалось уже никакого сомнения, когда они подъехали шагов на сто к месту, где остановился отряд Монбрёна.

Путешественников было человек двенадцать. Все они были хорошо одеты и имели добрых коней. У большей части виднелись копья и мечи, потому что в это время было бы крайним неблагоприятием пускаться в путь без всякого средства к обороне. Впрочем, ничто не обнаруживало в них боязни быть атакованными. Всадники были одеты в одинаковые короткие камзолы, какие обыкновенно носили тогда ездоки, – из серого сукна, с разрезными рукавами, падавшими по сторонам и оставлявшими часть руки незакрытой. Панталоны их были сшиты из той же материи и чрезвычайно узки, а ноги обуты в особенный род калош, предпочитаемых тогдашними путешественниками всякой другой обуви. На плечах у них висели магуатры (mahoitres), род плащей, которые впоследствии носили преимущественно военные люди, а голову их защищали от солнца высокие суконные шапки. Одеты таким образом путешественники больше походили на купцов, боящихся грабежа, чем на бродяг, которые предавались ему с охотой. Однако, глядя, как смело и уверенно сидели они на конях и с каким искусством правили ими, можно было подумать, что они не совсем так мирны, как казалось с первого взгляда. В этом, конечно, легко было бы убедиться, если бы расстояние позволяло видеть суровые и воинственные лица всадников, исчерченные глубокими рубцами.

Впереди этой толпы ехал тот, кто, по-видимому, был ее предводителем. Под ним красовался лихой конь – «истинный цвет скакуна», как выражались тогда! Но по одежде он мало чем отличался от своих спутников. На нем был такой же камзол, такие же панталоны, только вместо неловкого магуатра на плечах висел бархатный плащ, застегнутый у шеи золотым крючком, да на голове было нечто вроде шапки, со стальными пластинами, которая в случае нужды могла защитить от изрядного удара. Всадник был среднего роста, но казался сильным, и мужественный взгляд его внушал уважение.

У барона было время рассмотреть незнакомцев, и он делал это со всем вниманием к самым малейшим подробностям. Монбрён, вероятно, не нашел в путешественниках ничего

такого, что могло бы возбудить его недоверие, он поднял свой наличник и, опуская копьё, прислонил его к стремени с самым беспечным видом.

– Клянусь дьяволом! – вскричал он. – Очень жаль, что мы оставили свой лагерь под каштанами! Этот старый трус, щитоносец, робких ягнят принял за хищных волков! Послушайте! – продолжал он, со смехом обращаясь к своим. – Придется вам нынче обойтись без драки: это мужичье, кажется, не расположено ни нападать на нас, ни защищаться, если мы нападём. Но они расстроили наш лагерь, и надо, чтобы поплатились за эту дерзость.

Вассалы почтительной улыбкой одобрили не совсем хорошую шутку своего властелина. Между тем барон продолжал смотреть в ту сторону, откуда шла толпа незнакомцев.

– Ага! – продолжал он, как бы разговаривая с самим собой. – Кажется, бездельники заметили нас и спохватились. А право, было бы забавно, если б они сами бросились в наши руки, как рыба в вершу. Вот они останавливаются. Клянусь святым Марциалем, они трусят.

В самом деле, путешественники остановились на некотором отдалении и, казалось, советовались между собой, продолжать ли путь, несмотря на грозные приемы людей Монбрёна. Трубадур с беспокойством спросил барона:

– Неужели, благородный рыцарь, вы хотите напугать этих несчастных путешественников?

– Я! – отвечал спокойно барон, ошибаясь или показывая, будто ошибается в значении задаваемого вопроса. – Вы мало знаете меня, сир де Монтагю! Неужели вы можете предполагать, что я, Эмерик, сеньор Монбрёна и Латура, могу унизиться и войти в какие бы то ни было объяснения или отношения с людьми, которые очень похожи на торгашей или разносчиков? Нет, нет, рука моя не станет щипать этих перелетных птиц, это дело моего сенешаля, Освальда. А я приберегаю себя для противников высшего разряда. Освальд, поезжай, узнай, что это за люди, – продолжал рыцарь, обратившись к старому конюшему, который первый возвестил о приближении путешественников, – и поверни их покруче. Пусть перед тобой раскроются их кошельки, и если это удастся, я обещаю тебе двойную часть добычи. Поезжай же, а если не справишься один, подай знак, я пошлю на помощь людей, чтоб проучить эту сволочь.

– Я пересчитаю их и один, если позволит ваша милость, – отвечал с самоуверенностью конюший.

И он поскакал к путешественникам, взмахнув копьём над головой.

Владелец Монбрёна ни одной минуты не сомневался, что его конюший одним своим появлением напугает дюжину людей, небогато одетых, следовательно, по его мнению, простых. Он приказал сопровождавшим повозку ехать вперед, обещая догнать их с остальной свитой, как скоро взыщет с этих бродяг пошлину за проезд через монбрёнские владения. Нагруженная повозка тронулась. Барон с несколькими приближенными остался на том же месте и следил за Освальдом, а Жераль смотрел на всю эту сцену больше с беспокойством, чем с удовольствием.

Между тем Освальд доскакал до места, где остановились незнакомые всадники, и по движениям его можно было заключить, что он вступил в горячий спор с их начальником, подъехавшим к нему. Вдруг конюший, не отстававший в дерзости от своего господина, повернул свою лошадь в сторону, поднял копьё и, казалось, готов был ударить им противника по голове, но в ту же минуту в руках незнакомца блеснул меч, и копьё было перерублено с такой легкостью, как будто оно было соломенное. Обезоруженный этим ударом, Освальд тотчас повернул коня и поскакал назад, но незнакомец, пользуясь этим, стал преследовать его и осыпать ударами плашмя с видом величайшего презрения. Бедный конюший совсем растерялся. Удары, падавшие на его шлем и на его плечи, так оглушили, что он беспрестанно терял равновесие и, сопровождаемый громким хохотом незнакомцев, судорожно держался за седло.

Сам барон и его люди не могли удержаться от смеха при виде комического бегства несчастного конюшего.

– Клянусь ушами папы! – вскричал барон. – Кажется, Освальд наскочил на бравых ребят! Недаром говорит пословица: «У иных овец волчьи зубы». Видно, моему словоохотливому вассалу плохо пришлась его громкая речь. Даром что это какой-нибудь купчина, а славно принял и спровадил молодца! Однако, – продолжал рыцарь, опуская забрало и взяв копьё наперевес, – я не допущу, чтоб так оскорбляли моего слугу. Вперед, ребята, нагрянем на этих поросят и научим их вежливости. Монбрён! Монбрён! И да судит нас Бог!

Дружина громко повторила эти воинственные крики и, укрепившись в седлах, понеслась вслед за бароном.

– Ради бога, сир де Монбрён, – вскричал с беспокойством трубадур, отъехавший в сторону, как скоро увидел, что стычка неизбежна, – ради Бога, подумайте, что вы делаете? Довольно уж и того, что приключение сегодняшнего утра может быть причиной множества неприятностей, неужели вы еще хотите увеличить число ваших врагов?

Но эти слова, казалось, не трогали барона. Он скакал, опустив поводья и не переставая кричать.

Грубая необузданность барона не исключала, однако, некоторой сообразительности, и на полном скаку он размыслил, что в этом деле подвергает себя излишним неприятностям, не ожидая в вознаграждение ни добычи, ни славы. Поэтому он решил не нападать на незнакомцев без предварительного объяснения, пока не узнает, какого сана или сословия люди, находившиеся перед ним. Чтобы обозначить свое мирное намерение, он снова поднял копьё кверху и велел своим людям сделать то же.

В эту минуту он встретился с Освальдом, который, выпустив из рук поводья, шатался в седле, как пьяный. Монбрён стал его допрашивать, но несчастный вассал был совершенно расстроен неожиданным поражением, и невозможно было добиться от него никакого толку. Задыхаясь, он произносил какие-то несвязные слова, удары, в таком изобилии обрушившиеся на его голову, перевернули, казалось, его мозги вверх дном. Итак, барон должен был требовать объяснения происшествия у начальника противного отряда.

Незнакомцы между тем не делали ни малейшего движения. С воинской точностью они выстроились в ряд и, устремив взоры на неприятеля, ожидали его в совершенной неподвижности. Шагов на двадцать впереди, отдельно от других, находился всадник в плаще, он опустил меч к земле и тем выражал свое желание вступить в переговоры.

Монбрён никому бы не позволил превзойти его в той беспечности к опасностям, которая составляла главное, если не единственное достоинство рыцарей того века. Притом он заметил, что незнакомцы, хотя слабо вооруженные, тем не менее смотрели бодро, и вид их показывал привычку к военному ремеслу. Сообразив, что его собственный отряд, привыкший сражаться за высокими стенами замка, не отличался храбростью в открытом иоле, он решил быть осторожным и также проявить умеренность. Барон велел своим людям остановиться, а сам поехал тихим шагом навстречу неприятелю, который с гордой осанкой ждал его посреди дороги.

По мере своего приближения барон с большим вниманием рассматривал незнакомца, которого мы до сих пор называли всадником в плаще. Это был человек лет пятидесяти, крепкого сложения, по-видимому, нисколько не пострадавшего от возраста. У него были широкие плечи, сильные, мускулистые члены, голова огромного размера, нос приплюснутый. В физиономии его было что-то отталкивающее. Лицо, смуглое от природы, еще более почернело от солнца и ветра, и приняло какое-то жесткое, грозное выражение, а черные маленькие глаза метали искры из-под густых нависших бровей. В эту минуту на физиономии его отобразилась живая досада, придававшая ему еще более устрашающий вид.

Со своей стороны, незнакомец тоже очень внимательно рассматривал барона де Монбрёна. У рыцаря, совершенно скрытого своими доспехами, сквозь опущенное забрало виднелись только глаза. Как только барон подъехал к незнакомцу на близкое расстояние, тот, возвы-

сив свой грубый, сильный голос, закричал на французском наречии, бывшем в употреблении при дворе:

– Клянусь святым Ивом! Что это значит, мессир? Как можно останавливать путешественников на большой дороге и досажать им дерзостью, как осмелился сделать этот негодный конюший?

Барон остановился, чтобы расслышать слова незнакомца, но, как и большая часть тогдашних рыцарей-владельцев, он понимал только то наречие, на котором говорили в окрестностях его замка, ко всем же другим обнаруживал глубокое презрение.

– Что за черт? Кто это стоит перед нами? – вскричал он на романском или лимузенском языке. – Клянусь головой святого Марциала! Не могу придумать, откуда взялся этот бродяга со своей французской тарабарщиной?

Такая грубая выходка, очевидно, взбесила незнакомца, он покраснел от негодования и судорожно схватился за меч, но потом, подавив это первое движение, отвечал на чистом романском наречии:

– Я спрашиваю вас, мессир, вы ли господин того грубияна, который так дерзко осмелился требовать с нас пошлину за проезд через ваши владения и схлопотал себе наказание из моих собственных рук?

– Да, я его господин, – отвечал надменно барон, – но ты сам, приятель, не скажешь ли мне...

– Если так, – грубо прервал незнакомец, – вызываю вас на поединок и докажу в честном бою, что вассал ваш – собака и собачий сын и что я его наказал по заслугам.

Странность этого вызова не поразила барона де Монбрёна. В то время крепостные люди ценились не выше скота, человеческое достоинство считалось исключительным достоянием дворян, и требовать ответа у феодала за проступки его вассала казалось совершенно естественным и в порядке вещей. Но этот вызов удивил его потому, что был произнесен человеком, которого он, по простоте одежды, принимал за смиренного мещанина или купца. Голосом более мягким, но в котором все еще слышалась некоторая ирония, барон возразил:

– Прекрасно сказано, приятель. Но, прежде чем я приму ваш вызов, нелишне будет знать, кто вы такой и может ли барон де Монбрён, сеньор Латура и других поместий, не запятнав своей чести, переломить с вами копье?

– Я имею такое же право, как и вы, носить золотую цепь и шпоры, – отвечал незнакомец, с трудом сдерживая свою вспыльчивость, – я благородной крови и рыцарь.

При этих словах во всех повадках, в голосе и чертах незнакомца выразилось столько достоинства, что Монбрён ни на одну минуту не усомнился в истинности им сказанного. В те времена между членами всякого сословия существовала некоторая общность незначительных примет, по которым они безошибочно узнавали друг друга. Тем не менее барон счел приличным не сдать на уверение незнакомца.

– Готов верить вам, мессир, – отвечал он с грубой вежливостью, – но чем поручитесь вы мне, что не принимаете на себя сана, вам не принадлежащего?

В глазах незнакомца сверкнуло негодование.

– Моей рукой! – вскричал он вспыльчиво. – Но что тут терять попусту слова? Становитесь, мессир де Монбрён, де Монфор, или как бы вас там ни звали по-гасконски. Становитесь, говорят вам, и этим простым мечом я вам докажу, что я дворянин и доблестный рыцарь.

Он хотел повернуть коня, чтобы отъехать от противника на некоторое расстояние и принять положение, приличное для поединка, но не мог исполнить этого намерения. Люди его, услышав разговор, какой завел он с чужим рыцарем, имевшим над ним все преимущество хорошего вооружения, подъехали ближе, чтобы помочь в случае необходимости. Вассалы Монбрёна, подражая движению противника, тоже остановились в нескольких шагах за своим гос-

подином, и вследствие этого двойного маневра рыцари очутились вдруг в тесном кругу своих отрядов.

Один из сопровождавших незнакомца, человек небольшого роста, со смуглым воинственным лицом, нагнулся к нему и с беспокойством шепнул на ухо:

– Не забывайте, бога ради, кто вы и куда едете.

Всадник вместо ответа глянул на него с неудовольствием.

Если бы в эту критическую минуту с той или другой стороны выпал хоть один удар, между противниками, без сомнения, завязалась бы страшная борьба. Но ни один из начальников не подавал знака к сражению, они мерили друг друга грозными взглядами, не решаясь ни на войну, ни на мир.

В эту минуту посреди безмолвно толпившихся всадников раздался нежный, но твердый голос.

– Я знаю этого путешественника,– произнес кто-то с живостью,– и ручаюсь за его дворянский род и доблестный, благородный дух. Ради бога, сир де Монбрён! Умерьте вашу кипучую храбрость, никогда она не могла быть губительней для вас, как в эту минуту.

Так говорил Жераль де Монтагю, последовавший за людьми Монбрёна и услышавший последние слова рыцарей. Он с трудом протиснулся сквозь ряды баронского отряда. Въехав на тесную площадку, окруженную слугами, он почтительно обнажил голову и, обратившись к незнакомцу, наклонился почти до луки седла.

Незнакомец и его приближенные пристально взглянули на менестреля. Барон тотчас оглушил его громовым голосом:

– Так, может быть, ты откроешь мне наконец, кто этот герой с большой дороги? Он вызывает меня на бой и не говорит своего имени. Черт побери! Видно, ему не совсем известны законы и обычаи рыцарства. Что ж, прекрасный трубадур, говори скорее, в каком углу света встречал ты этого человека? Какое его занятие? Как его имя?

Мрачное облако затмило чело незнакомца.

– Клянусь Святым Спасителем Динанской обители,– вскричал он,– мне нечего краснеть за свое имя! К черту все осторожности! И если вам нужно знать, я...

– Вы кавалер де Кашан,– прервал трубадур с необыкновенной живостью,– я видел вас при дворе графа де Фуа, где вы обходились запросто с герцогом Анжуйским. Вы стяжали некоторую славу в испанской войне Педро Грозного и теперь, конечно, едете к королю Франции Карлу Пятому, чтобы предложить ему свои услуги. Не правду ли я говорю, сир де Кашан? И к чему было скрывать все это от барона де Монбрёна! Его владение хотя и зависит от аквитанского герцога, принца Уэльского, но он ему не присягал и свободен от всякого подданства.

Говоря, трубадур потупил глаза, и щеки его покрылись румянцем. Рыцарь, которого он назвал сиром де Кашаном, смотрел на него с выражением удивления и смущения, не совсем свойственных его решительному характеру, но конюший его быстрым пожатием руки поблагодарил Жералья.

Барон де Монбрён ни одной минуты не колебался и поверил объяснению трубадура, смущения которого он не заметил.

– Сир де Кашан,– произнес он вежливо,– до сих пор я не знал вашего имени, но, так как один из этих любезных трубадуров, обязанность которых состоит в том, чтобы знать доблестных рыцарей и воспевать их подвиги, ручается за вас, я не стану больше оскорблять вас сомнениями насчет вашей личности и принимаю ваш вызов. Но поскольку вы теперь не вооружены по правилам и не имеете при себе кума¹, а конь ваш устал, то я предоставляю вам выбор места и времени для законного и добропорядочного рыцарского поединка, и если...

¹ Так назывались секунданты.

– Нет, нет,– быстро прервал сир де Кашан,– благодарю вас за вежливость, но у меня нет лишнего времени. Очень важные дела требуют моего присутствия во Франции, и если я не окончу поединка с вами нынче же, то не знаю, когда буду в состоянии явиться на ваш вызов.

– Как вам угодно, мессир, но честь моя не позволяет вступать в поединок с рыцарем, так легко вооруженным, если я сам не сложу своих доспехов, чтобы уравнять шансы...

– Ну так отложим бой до другого раза,– возразил рыцарь, внезапно приняв новое решение.– Мы увидимся, сир де Монбрён. Дела требуют от меня такой поспешности, что я поклялся не вынимать меча из ножен, пока не закончу их, кроме неизбежной, законной защиты.

– Да будет по вашему желанию, сир де Кашан, и так как мы уже выбрали этого юношу в герольды и судьи поединка, то я прошу его принять мой залог в знак того, что я принял ваш вызов.

Барон стянул рукавицу, снял с пальца золотой перстень и отдал его трубадуру. Сир де Кашан распахнул камзол и достал из-за пазухи образок, висевший на голубой ленточке.

При этом движении из-под камзола блеснула кольчуга, но по краткости времени никто не заметил этой меры предосторожности, принятой путешественником.

подавая Жералю образок, он сказал:

– Вот и мой залог. Любезный трубадур, который так хорошо меня знает, вероятно, должен знать и то, что я никогда не забываю своих залогов в чужих руках.

Молодой Монтагю неохотно принял залогов рыцарей и с робостью и беспокойством перерачивал их в руках.

– Мессир,– произнес он почтительно,– так как вы оказали мне, простому дворянину и скромному трубадуру, великую честь, выбрав в посредники и судьи поединка, то позволено ли будет мне спросить у вас, что послужило причиной этого вызова на жизнь и смерть, в залог исполнения которого вручили мне вы, сир де Кашан, этот образок, а вы, сир де Монбрён, золотой перстень?

Рыцари с минуту безмолвствовали: в пылу разговора они почти забыли причину своей ссоры.

– Этот сеньор телесно оскорбил моего вассала и ленника,– отвечал наконец Монбрён,– за то, что тот потребовал с него пошлину, которая взимается со всякого человека, проезжающего через мои владения.

– Так,– отвечал трубадур,– но гонец ваш, Освальд, не имел никакого права требовать пошлины с благородного рыцаря и, следовательно, мог вполне...

– Согласен,– прервал барон.– Если б я знал о сире де Кашана, то не позволил бы Освальду требовать пошлины ни с него, ни с людей, составляющих его отряд.

– А я говорю вам,– гордо прервал сир де Кашан,– что ни один владетель не имеет права требовать пошлины за проезд через владения ни с какого путешественника, не разбирая, дворянин он или мещанин. Во Франции это теперь уже не водится, и те, которых называли рыцарями добычи, вместе со своими приверженцами соборно отлучены от церкви. Я нахожу эту меру справедливой и мудрой.

– Довольно, мессир,– отвечал барон, не будучи в состоянии скрыть своего смущения,– обычаи Франции могут быть не согласны с обычаями нашей несчастной страны, опустошаемой войной. Но будем говорить о другом. Наши залогов в руках этого юноши, оставим их у него до времени и выкупим как следует.

– Однако...

– Перестань, Жераль. Твое упорство заставит этого рыцаря усомниться в моем мужестве, а меня – в его храбрости. Я бы не желал этого. Теперь, мессир,– продолжал он, приветливо обратившись к Кашану,– теперь, когда мы вызвали друг друга на жизнь и смерть и обменялись залогом вызова, теперь нам ничто не мешает быть друзьями до той минуты, когда сразимся в честном бою. Прошу вас от чистого сердца принять приглашение почтить мой замок

своим присутствием. Приглашение относится не только к вашей особе, но и ко всем всадникам вашего отряда. Всем им, равно как и вам, обещаю полную безопасность, пока вы будете находиться под моим кровом.

Сир де Кашан, казалось, был расположен принять это странное предложение. Жераль, видя в нем некоторую решимость и вполне зная его положение, поспешил заметить на французском наречии, которого не понимали ни барон, ни его люди:

– Откажитесь, ваша милость. Это значило бы увеличить опасность вашего положения, и без того не обеспеченного. Вы в неприятельской стране, и отдаться в руки человека без правил было бы слишком неблагоприятно. Он может узнать, кто вы, и тогда корыстолюбие заглушит в нем голос чести. Не вводите в искушение эту сомнительную честность.

– Конечно, вы об этом можете судить лучше меня, – отвечал Кашан на том же наречии, – и я не знаю, на что решиться. Черт бы побрал эту глупую фантазию, которая пришла мне в голову, прокрадываясь через неприятельскую землю, в надежде скорее добраться до Франции. Я желал бы последовать вашему совету, но ни я, ни люди мои не знаем этих мест. Мы истощены усталостью и голодом, лошади наши не разнуздывались с самого утра и, к довершению несчастья, мне известно, что вокруг нас бездна англичан. Клянусь Богом! Положение наше незавидное. Итак, милый трубадур, если вы думаете, что ввериться чести этого барона-грабителя значит...

– Не смею сказать ничего определенного, но жизнь и свобода ваши так драгоценны для Франции, что, по-моему, лучше бы вам провести ночь под одним из этих каштановых деревьев, чем ввериться гостеприимству барона Монбрёна.

– Но сам ты, если не ошибаюсь, ешь его хлеб и спишь под его кровлей. Тебе, молодой человек, следовало бы быть менее строгим к тому, у кого живешь.

– О! Я – дело другое, благородный рыцарь, – отвечал, краснея, трубадур. – Меня к этому замку приковывает сильный, непреодолимый интерес. Да и притом жизнь моя – кому она нужна, для кого драгоценна?

– Хорошо, молодой человек. Но если я откажусь от предложения рыцаря, найду ли по соседству какой-нибудь постоянный или монастырский двор, где мог бы дать отдохнуть людям и лошадям?

– На десять лье вокруг нет ни одной гостиницы, все выжжено англичанами. А в монастырь с такой дружиной вас не пустят. Смирная братия не любит вооруженных отрядов.

– Клянусь святым Ивом! Что же мне делать?

– Не знаю. Если б проведать, где капитан Доброе Копье, начальник партизанской армии, рыскающей по здешним местам, то можно бы положиться на него. Он отважен, скор, готов на всякий подвиг и, узнав ваше имя, без сомнения, служил бы вам всей своей силой. Но он всегда в движении, и бог знает, где теперь.

Во время этого разговора барон бросал недоверчивый взгляд на незнакомца и трубадура. Видя, что последний изъясняется с большим жаром, чем обыкновенно, и что разговор все продолжается, он прервал его грубым голосом.

– Прекрасный юноша, – начал он с некоторой иронией, – не сомневаюсь, что вы употребляете все усилия уговорить сира Кашана принять мое приглашение, но я надеюсь, что одно приветливое слово от меня должно иметь больше веса, чем все красные речи златоустого менестреля. Итак, прошу вас не тарабарить по-придворному и не вмешиваться больше между мной и благородным сиром де Кашаном.

Жераль поклонился и почтительно отъехал назад, но глаза его не отрывались от незнакомца, который, поворачиваясь на своем седле, по-видимому, не знал, что отвечать.

– Сир де Монбрён, – произнес он наконец решительным тоном, – мне кажется, вы сказали, что ваше поместье зависит от принца Уэльского и его сюзерена короля Англии?

– Поместье мое,– отвечал гордо барон,– дано мне Богом и мечом и зависит только от них. Я не присягал никакой земной власти – ни королю, ни герцогу, и меня не может связывать клятва подданства, данная от имени всей Аквитании некоторыми мещанами и дворянчиками мнимому герцогу, принцу Уэльскому. Я не признаю над собой верховной власти ни Франции, ни Англии. Я сам себе власть, я – владетель Монбрёна.

Горделивость этого ответа, казалось, не удивила сира де Кашана.

– Если так,– отвечал он,– вы нейтральная власть, и я без опасения приму ваше гостеприимство на предстоящую ночь. Мы честно обменялись залогами и должны быть неприкосновенны друг для друга до минуты сражения, иначе да падет срам и стыд на забывшего свою клятву! Знайте, мессир, что за всякий волос, который упал бы с моей головы в вашем замке, к его стенам подступило бы столько стрелков, что по разрушении ваших крепких башен на долю победителей не досталось бы и по камню на каждого человека. Теперь же,– продолжал он спокойно, протянув руку барону,– примите меня, мессир де Монбрён, на честь и благородное слово, ибо я хочу быть вашим другом с настоящей минуты на всю ночь, до часа ранней обедни².

– Быть по вашим словам,– отвечал барон, сжимая крепко мощную руку, которая была подана ему,– и так как вы не хотите более продолжительного срока для перемирия, то будем товарищами и друзьями до часа, определенного вами, по истечении которого каждый из нас волен предпринимать, что пожелает. Отправимся в замок, там вы и отряд ваш распорядитесь всем моим добром, как своей собственностью.

Определив эти условия и заключив перемирие на срок, рыцари поклонились друг другу с принужденной вежливостью, и каждый из них обратился к своим людям, чтобы отдать нужные приказания. Скоро мечи были вложены в ножны, булавы прицеплены к седлам, недоверчивость исчезла со смуглых лиц, и оба отряда направились через лес к замку Монбрён.

В эту минуту солнце почти касалось горизонта, и лучи его утратили уже нестерпимую жгучесть. Всадники ехали легкой рысью в тени вдоль опушки леса. Оба отряда разглядывали друг друга, но больше с любопытством, чем с опасением. Монбрён ехал впереди, открыв лицо, и разговаривал таинственно с молодым трубадуром, которого, казалось, этот вопрос очень смущал. Позади них ехали вассалы Монбрёна, толковавшие между собой на своем провинциальном наречии о странной встрече с незнакомцами и пустившиеся во всевозможные догадки насчет последствий приглашения их господина. В нескольких шагах за ними ехал сир де Кашан со своим любимым конюшим, шествие замыкали его двенадцать всадников, одетых в серые камзолы, на лицах которых можно было читать, что им не совсем нравится настоящее положение.

Совещание сира де Кашана и его конюшего продолжалось уже некоторое время.

– Клянусь святым Ивом,– вскричал наконец с досадой рыцарь,– теперь уже поздно упрекать, мессир Биго! Неужели лучше было бы продолжать путь и наткнуться ночью на англичан, которых около Лиможа, должно быть, бездна? Я не знал, где укрыться на ночь, и приглашение этого барона мне совершенно по нутру. Ты говоришь, что он разбойник. Да кто же теперь не разбойничает в нашей бедной Франции? Притом этот маленький менестрель – побей меня сатана, если я помню, где его видел! – весьма кстати назвал меня по одному из моих замков, так что барон и не воображает, кто я такой. Смотри, чтоб никто из моих людей не называл меня иначе и не проболтался. Впрочем, болтливость их не страшна. Кроме тебя, никто из них не знает здешнего наречия.

– Буду смотреть за всем, но позвольте и мне, бедному слуге вашему, попросить вашу милость быть осторожнее. Англичане, говорят, узнали про нашу экспедицию и будут следить за нами повсюду.

² Около шести часов утра.

– Повторяю тебе, безумная голова, что я выбрал лучшее средство уйти от их преследований. Пока они поджидают меня на обыкновенных дорогах, я спокойно проезжаю по их собственной провинции, где они меня не узнают, потому что им и в голову не приходит ожидать меня с этой стороны. Они думают, что я в Перигоре с двумястами всадников, а я между тем посреди них с горстью почти безоружных людей. Да, это прелихая шутка!

– Однако, ваша милость, если этот трубадур вздумает открыть, кто мы...

Рыцарь велел оруженосцу замолчать. В это время к сир де Кашану подъехал один из всадников барона и передал ему, что сир де Монбрён просит почтить его своим обществом впереди отряда.

– Готов принять ласковое приглашение барона, – отвечал Кашан. – Но, черт побери, – продолжал он насмешливо, взглядываясь в посланца, – да это, кажется, тебя отдалел я давеча за твои грубые речи?

Освальд поклонился.

– Мэтр Биго, – прибавил весело рыцарь, – дай этому бедняге дюжину золотых экю, чтобы затмить ему память. Клянусь Святым Спасителем! Меч мой стучал об его шлем, как язык о медные стенки колокола, и никогда, думаю, конюший не слышал подобного трезвона!

Биго со вздохом достал из кожаного кошелька несколько золотых монет и отдал их непрошеному гостю. Тот низко поклонился щедрому иностранцу и сказал вполголоса:

– Ваша милость! Я вас сперва не узнал, иначе никак бы не осмелился говорить так дерзко с такой особой, а что касается ударов, то я почитаю за великую честь, что столь доблестная рука удостоила поднять меч на мою недостойную спину.

– Черт возьми! Ты, видимо, незлопамятен. Но разве ты знаешь, кто я?

Освальд отвечал утвердительно.

– Так держи же язык за зубами, – сказал Кашан, выразив свою угрозу энергичным движением руки.

И, не приняв никакой другой меры, чтобы увериться в молчании человека, им крайне обиженного, он пришпорил лошадь и поскакал к барону Монбрёну, ехавшему вместе с трубадуром впереди отряда. Рыцари разговаривали учтиво о войне, о сражениях, об известных полководцах, бывших тогда предметом общего внимания, особенно в провинциях, опустошенных неприятельскими партиями. Время шло незаметно, и наконец всадники, оставив большую дорогу, повернули на длинную каштановую аллею, в конце которой красовался Монбрёнский замок.

Замок Монбрён (Mont-brun – «темная гора») принадлежал к числу тех древних укреплений, от которых теперь остались одни развалины, чтобы свидетельствовать о бывшем когда-то могуществе некоторых феодальных фамилий, павших или совершенно исчезнувших в наше время. Он стоял у самого входа в горные ущелья и дефиле. Местоположение его было так выгодно, что горсть храбрых и опытных воинов могла смело противостоять целой армии неприятелей. Этому-то именно обстоятельству сир де Монбрён и был обязан сохранением своей независимости. Ни французские, ни английские отряды, занимавшие поочередно Аквитанию, не смели углубиться в горные ущелья, чтобы покорить незначительного дворянина, каким был в самом деле гордый барон де Монбрён, и так как во всеобщей войне он не принимал участия и не стоял ни за тех, ни за других, то на него смотрели как на нейтральную власть, и каждая из держав готова была простить ему его разбойничества, с условием, чтобы он выкинул над своей башней белое знамя с золотыми лилиями или знамя с тремя леопардами.

Крепость была построена посреди небольшой долины между двух гор. Это положение, которое в наше время считалось бы крайне невыгодным, не имело тогда почти никакого значения при осаде, потому что пушки только что начинали входить в употребление, и никому еще в голову не приходило перевозить их с места на место и использовать в чистом поле или при осаде крепостей – до такой степени конструкция этих смертоносных машин была еще тяжела

и неуклюжа. Одна из соседних гор подымалась выше стен и была покрыта кустами и сосновым лесом, но расстояние между ней и крепостью не позволяло ни стрелам, ни камням долетать до стен замка; следовательно, осажденные могли спокойно смотреть и на гору и на неприятеля, если б он вздумал покрыть ее своими полчищами.

Замок был укреплен по всем правилам военного искусства. Он составлял огромный четырехугольник с высокими башнями на каждом углу. Его окружали толстые стены и глубокий ров, круглый год обильно наполняемый протекавшей вблизи речкой.

Над главным въездом, устроенным против извилистой дороги, выходившей из гор, возвышалась башня толще и выше других. Она служила каланчой и набатной, и над ней развевалось знамя с гербом владетеля замка. Против этой башни и подле самого подъемного моста стояла караульня. Эта точка считалась самой опасной. Стены караульни были чрезмерно толсты и испещрены бойницами; вогнанные в землю сваи составляли плотную ограду, называвшуюся заставой, и из рассказов современных историков видно, какие чудеса храбрости происходили во время осады около подобных рогаток. Архитектура замка была самая грубая, легкость и грациозность греческого стиля заменялась прочностью и массивностью. Все в этом здании напоминало то варварское переходное время, когда ввезенная римлянами во Францию греческая архитектура уже исчезла, а готическая или сарацинская еще не существовала. Замок в своей целостности составлял тяжелую, массивную, величественную громаду.

Около того часа, когда в поле происходили описанные нами сцены, обыкновенная бдительность крепостной стражи, казалось, была удвоена. Подъемный мост был поднят, воротная решетка опущена, и за зубцами стен прохаживались взад и вперед воины в кольчугах, в шлемах и со стальными луками на плечах. Дозорный ходил взад и вперед по платформе набатной башни, озирает все окрестности и готов был при малейшей тревоге затрубить в башенную трубу. Солнце спускалось уже к горизонту, но ничего не предсказывало приближения барона и его свиты. Звуки полевых рожков еще не доходили до замка, и уже некоторые старые вассалы начинали покачивать головами, замечая, что час, назначенный для возвращения барона, давно минул.

Но это его продолжительное отсутствие, казалось, не возбуждало никакого серьезного опасения в трех главных обитателях замка, находившихся в то время на платформе вала, близ крепостных ворот. Перед этой высокой точкой открывался необъятный горизонт. На переднем плане рисовались пустые домики деревни Монбрён, хозяева которых переселились в замок и стали солдатами. Вправо и влево подымались покрытые зеленью и лесом горы, далее, в сторону, начинались глубокие долины со своими чистыми речками и тенистыми каштановыми и дубовыми рощами. Весь ландшафт тонул в легких и теплых испарениях жаркого летнего дня.

По платформе взад и вперед ходили две особы. Одна из них была благородная донья Маргерита, владетельница замка. В собеседнике ее, человеке лет пятидесяти, одетом в монашеское платье и с выстриженным теменем, нельзя было с первого взгляда не узнать капеллана замка. Баронесса де Монбрён достигла возраста, называемого почтенным, начинающегося для женщин лет в сорок пять или под пятьдесят. Ее багровое, налитое кровью лицо указывало на вспыльчивый и вздорный нрав, с которым вполне гармонировали ее крикливый голос и грубые, сухие повадки. Она была среднего роста, но по странному костюму своему казалась гораздо выше, чем была на самом деле. На голове у нее торчал высокий остроконечный убор, какие в наше время носят еще крестьянки в некоторых округах Южной Франции. Из-под этой острой шапки сзади выбивались воланы из серебристой ткани и падали почти до самых пят, наподобие древних покрывал. Ее желтое, отороченное мехом платье около талии стягивалось атласным поясом, и на нем богатыми разноцветными шелками были вышиты гербы баронов де Монбрён. Длинное платье волочилось по полу, и в торжественных случаях шлейф его поддерживался пажом или оруженосцем. Но в эту минуту почтенная баронесса заткнула шлейф за пояс, чтобы быть более свободной в движениях. Она ходила по валу важной поступью, и по

бренчанию огромной связки ключей и коралловых четок, привешенных к поясу, можно было издали узнать о ее приближении.

Этот наряд, столь странный по нашим понятиям об изящном, вполне соответствовал роли строгой и гордой повелительницы, окруженной вассалами и каменными стенами. Донья Маргерита принадлежала к одной из древнейших фамилий провинции и была в родстве с владетелями де Латур, с давних пор присвоившими себе гордое название первых баронов Лимузена. Не говоря о знатности ее собственного происхождения, в сердце ее от природы таилось столько спеси и жестокости, что она и без этих столь многозначительных тогда преимуществ всегда сумела бы заставить бояться себя. Окруженная с малолетства грубыми наемниками и разбойниками, черствым сердцам которых было доступно только одно чувство – чувство страха, она с ранних лет привыкла повелевать, и во время частых вылазок мужа умела сохранять в замке строжайшую дисциплину. Многие вассалы говорили даже, что они не столько боятся львиного взгляда гневного барона, сколько блеска кошачьих глаз взбешенной баронессы: пажи ее и приближенные прислужницы, если медлили передавать строгие приказания госпожи, не раз, говорят, раскаивались в своей неповоротливости, испытывая тяжесть проворной руки баронессы.

Преподобный отец Готье, капеллан замка, отнюдь не напоминал собой олицетворения богобоязливости, добродетели и умиления, чего, казалось, можно было бы ожидать от монахов того времени. Он обладал огромными, мясистыми формами, черными усами, серыми глазами, густыми, жесткими волосами и по всему был самой природой предназначен скорее к военному ремеслу, чем к тихой жизни священника. Голос его был громок, движения скоры и грубы. В его устах религия становилась гордой, грозной, непримиримой, беспощадной, и он действовал ею, как воин палицей или рыцарь копьём и мечом, опрокидывая и уничтожая все, что ему противилось.

Говорили даже, что капеллан, кроме этих духовных орудий, в случае нужды умел прибегать и к мирским и владел ими не хуже любого мирянина. Так, например, однажды неприятель осадил замок во время обедни. Священник, услышав шум, бросил службу и, не сняв церковных риз, с быстротой молнии появился на стене. Не имея права, по уставу церкви, проливать кровь своих ближних, он схватил огромную дубину и действовал ею так удачно, что столкнул в ров троих ошеломленных и полумертвых неприятелей. Его пример ободрил осажденных, и враг должен был отступить со стыдом, оставив около замка значительное число убитых.

Понятно, что такого смельчака не могли напугать ни грубые требования барона, ни вздорные выходки его почтенной супруги. При малейшем поводе он угрожал им муками ада. Но под этой личиной независимости хитрый капеллан умел скрывать рассчитанную угодливость и смирение. Он очень хорошо знал, когда можно разразиться божественным гневом и когда должно приутихнуть. Никогда своим поведением он не выводил из границ необузданные натуры владетеля и его супруги, но вечной борьбой умел раздражать их и потом, очень кстати, удовлетворять точно рассчитанными уступками. Благодаря постоянству этой политики он никогда не был забываем в замке, где все жили грабежом и добычей. Разбойник барон, уступая монахам и монастырям значительную часть награбленного добра, был в полной уверенности, что тем совершенно заглаживает самовольный способ приобретения.

Таков был монах в черной бенедиктинской рясе с золотым крестом на шее, сопровождавший баронессу на платформе вала. С этой точки можно было видеть даль дороги, по которой барон должен был вернуться. Но ожидание не поглощало все внимание двух означенных лиц. Они ходили твердым, но неровным шагом взад и вперед и не прерывали своего громкого и оживленного разговора. Монах, видимо, горячился, но благородная дама, казалось, не была расположена соглашаться с ним, и не раз уже сторожа, расставленные на бастионах, старались уловить слова, возбуждавшие их любопытство.

В углу замка, у подножия одной из башен, бросавших тень далеко в открытое поле, находилась третья особа, пленительная красавица Средних веков. То была молодая девушка лет двадцати, величественная, высокая и гибкая. Черные глаза составляли странный контраст с матовой белизной лица. Взгляд выражал мрачную грусть, какую-то бессознательную отрешенность, и все в ней внушало сочувствие и удивление. Костюм ее несколько не походил на наряд баронессы. Волосы, разделенные на две половины, обрамляли правильный овал лица и прикрывались сверху бархатной шапочкой, шитой золотом и жемчугом. На ней было белое, обшитое горностаем платье, разрезные рукава которого обнажали по самый локоть прекрасные руки, украшенные дорогими браслетами.

Эта молодая девушка, напоминавшая своей красотой больше Юнону, чем Венеру, была знатная девица Валерия де Латур, которую ее опекун, барон де Монбрён, лишил наследства и держал как пленницу в своем замке. Стоило только взглянуть на нее, чтобы понять любовь, какую питал к ней Жераль де Монтагю. Облокотившись на один из зубцов крепости и устремив взгляд в поле, она пребывала в совершенной неподвижности. У ног ее спала большая черная борзая с серебряным ошейником. Молодая девушка посадила своего любимого сокола на один из камней бруствера. Луч заходящего солнца обливал золотом эту грациозную группу и потом терялся на зеленом ковре соседней горы.

Ни шаги, ни шум голосов не могли отвлечь ее от глубокого размышления. Она предавалась мечтам и не могла оторвать взгляда от пленительных картин свободной природы, раскинутой за рвом замка Монбрён. Может быть, она воображала, как отрадно скакать по этим нивам и лесам и преследовать быстрого оленя. Быть может, она переносилась на пышный турнир, где храбрый рыцарь, украшенный ее шарфом, остается победителем; быть может, она мечтала, как вернется, торжествуя, в отдаленный замок, где она родилась и откуда ее увезли силой и обманом. Но какие бы мысли ни занимали сердце девушки и волновали грудь, глубокая задумчивость владела ею, и две слезы тихо и незаметно для нее самой текли по ее щекам.

Баронесса и ее духовник, конечно, не заметили бы грусти Валерии, если бы первая, смущенная логикой монаха и не зная, что отвечать, не вздумала прервать разговор. Поэтому, поискав глазами вокруг себя, она с восторгом увидела слезы, которые Валерия и не думала скрывать. Баронесса остановилась перед племянницей и закричала обычным своим визгливым голосом:

– Святая Богородица! Что я вижу? Кажется, прости господи, моя прекрасная племянница грустит. Будто прилично знать молодой девушке, что такое горе! Подойди сюда, моя милая. Что это ты так расплакалась? Или тебе чего-нибудь недостает в Монбрёне? Боже праведный! Не знаю, чего еще тебе надо! И так уж тебе, простой девчонке, оказывают здесь такую же честь, как мне самой, владетельной баронессе и повелительнице этого замка. Но мой супруг, благородный барон, так приказал.

– Прекрасная тетушка, – отвечала гордо Валерия, – мне здесь оказывают ту честь, которая прилична моей благородной крови. Я происхождением равна вам. А что до моих слез, – прибавила она, утирая глаза, – я в них не обязана ответом никому – только единому Богу открыты тайны моего сердца.

Твердость этого ответа неминуемо вызвала бы весь гнев баронессы, но монах поспешил принять сторону Валерии.

– Девица сказала правду, – произнес он строго и решительно. – Один духовник от имени Бога имеет право требовать у нее отчета в ее тайнах. Итак, донья Маргерита, не мешайте ей плакать и не присваивайте себе духовных прав, дарованных Богом одним только избранным. Завтра поутру я выслушаю исповедь мадемуазель де Латур, и мне одному предоставлено судить, достойны ли ее слезы похвалы или порицания.

Баронесса и монах удалились и начали снова ходить по платформе. Валерия, не сказав ни слова, приняла опять свое прежнее положение у подножия башни. Но в этот раз чувства

девушки, казалось, были уже не столь спокойны и смиренны; губы ее были сжаты, и легкая складка прорезывалась между прекрасных черных бровей. Жестокие слова тетки, казалось, пробудили в ее сердце заснувшие на миг гнев и отчаяние.

Между тем разговор между надменным капелланом и упрямой баронессой возобновился. На отца Готье нашла одна из тех минут, в которые он считал долгом порицать все, что ни делалось в Монбрёне, помня, что впоследствии успеет еще искупить свою докучную строгость самой плоской снисходительностью. Валерия де Латур была печальна, и отец Готье счел за нужное воспользоваться этим случаем, чтобы поворчать лишний раз.

– Мадемуазель де Латур несчастна, и я думаю, что беспорядки, совершающиеся всякий день пред ее глазами, делают страдание ее невыносимым. Ее лишили наследства и удерживают пленницей в этом замке. Но горе! Горе! Приближается день, когда чаша беззаконий наполнится до краев!

Донья Маргерита сделала гневное движение.

– Клянусь Богом,– сказала она,– вы, мой отец, заставите меня забыть уважение, которое я питаю к вашему сану. И вы упрекаете за эту глупую девочку? Мой достойный супруг и я, разве не обходились мы с нею как преданные и любящие родственники с того времени, когда она оставила Бубонское аббатство, где жизнь ее не была в безопасности? Не нашла ли она у нас пристанище и защиту, место за столом и у очага, благородное положение и приличное содержание? Посмотрите, не одета ли она как королева? И не наша вина, если ей нельзя выйти из замка, не подвергая себя опасности. Ей не позволяют рыскать по полям для ее же собственной пользы, чтобы отвратить всякие дурные встречи, подобные той, которая, помните, два месяца назад... Вы понимаете, о ком я говорю. Я сама, вот уже более года, иначе не вижу моих владений, как с высоты этой башни, и ни разу не осмелилась перешагнуть за подъемный мост. Неужели же вы хотите, чтобы мы, для удовлетворения фантазии этой надменной девчонки, передали ей во владение старый Латурский замок, в котором надо содержать разорительный гарнизон и на который, впрочем, она не имеет никакого права? Забавно будет, когда эта девчонка, умеющая только спускать сокола да слушать песни трубадура, станет вдруг повелительницей замка, окружит себя вассалами и наемниками и будет сопротивляться англичанам, бретонцам, французам и другим, кто вздумает овладеть ее замком. Что будет тогда с нею? Поневоле придется выйти замуж за какого-нибудь пройдоху, который для нее будет жестоким мужем, а для нас – дурным соседом. Вы хорошо знаете, почтенный отец, что я ничего не выдумываю и что в здешних окрестностях скрывается этот негодяй, который, очевидно, хочет сыграть с нами подобную шутку!

– О боже мой! Что значит вся эта земная суета пред вечным правосудием? – вскричал монах тоном, которым он обыкновенно говаривал проповеди по воскресеньям в монбрёнской часовне. – И долго ли еще это жилище будет местом гибели, где льются слезы невинного, где забываются законы Бога и церкви и где люди живут грабежом и всякими неправдами? Если все это не изменится, я не в состоянии буду далее освящать своим присутствием все эти беззакония, которые вижу ежедневно. До сих пор по крайней мере сохранялась некоторая умеренность в грабежах и священные вещи уважались. Но если правда, что ваши вассалы, как я подозреваю, поехали нынче на грабеж церкви, если отряд возвратится с имуществом благочестивых служителей Христа, несказанное милосердие Божье истощится и проклятие постигнет всех, кто принимал участие в этом нечестивом деле.

– Что ж, если эти припасы действительно принадлежат монахам,– вскричала баронесса с запальчивостью,– почему же им, как и другим людям, не пострадать от бед и злополучий времени, в которое мы живем? Что же будет с нами, если наши воины и оруженосцы возмутятся от страха перед голодной смертью? Да, я вынуждена сказать вам, мой почтенный отец, мы почти уверены, что воз, нагруженный припасами, который должен был проехать нынче через

наши владения, принадлежит соседнему монастырю, но едва ли этой причины будет достаточно, чтобы мой благородный супруг не захотел овладеть им.

– Если так, донья Маргерита, то никогда ни барон, ни те, кто сопровождал его, не получат от меня отпущения за этот святотатственный поступок.

Владетельница замка смотрела на капеллана с удивлением.

– Берегитесь, отец мой,– сказала она с надменностью,– неблагоприятно оскорблять моего и вашего повелителя! Не измените мудрой снисходительности, которую вы до сих пор оказывали. Когда тетива натянута не в меру, она разрывает лук, и если вы будете чересчур строги, барон может захотеть поискать другого капеллана, благоразумнее вас, а монахов в окрестностях очень много.

В капеллане вспыхнули удивление и гнев. Никогда еще не представляли ему так ясно возможности, что другой точно так же может управлять совестью жителей Монбрёнского замка и злоупотреблять духовной властью, как и он! Отец Готье вдруг остановился и с жаром вскричал:

– Вы это серьезно говорите, сударыня? Неужели вы думаете, что другой священник, кто бы он ни был, осмелится вступить в замок, покинутый мной за нечестивость, и дерзнет произнести благословение там, где я объявлю анафему? Клянусь Пречистой Девой! Это было бы слишком, если б недостойный пастырь церкви осмелился прощать тех, кого осудил истинный служитель Бога! Но я не потерплю такого соблазна, и в тот день, когда гнев изгонит меня из этого жилища, я настою, чтоб ни один монах или священник не дерзнул перешагнуть за порог его прежде, нежели обитатели замка не примирятся с церковью, которую я представляю!

– Сожалею, что вижу вас в таком состоянии, отец мой. Остерегитесь! Муж мой горяч. Он не привык, чтобы в замке кто-кто осмеливался противоречить ему, и если вы будете раздражать его вашей чрезмерной строгостью, он может решиться на крайность.

– Что же? Пусть решится! – возразил монах тоном гордого вызова.– Из меня не так легко сделать мученика! В случае нужды я могу защитить себя и телесной силой – пусть только явится смельчак, который дерзнет поднять на меня руку! Нет, нет! Я не боюсь никого, и если захотят насильем вынудить у меня то, что запрещает мне религия, я наложу страшное отлучение от церкви не только на владельца этого замка, но на супругу его, на родственников и ближних до седьмого колена, предам небесному проклятию вассалов и служителей, начиная со старого оруженосца, бодрствующего на этой башне, до маленького пажа, играющего у ее подножия в ожидании приказаний госпожи своей. И будут прокляты мною его домашние животные, его имущество и вещи. Замок и земли, воздух, которым дышит, вода, которую пьет, хлеб, который он ест,– все будет проклято, и его станут избегать, как зараженного страшной язвой!

Эта угроза произвела сильное впечатление на баронессу. Гордость ее, как женщины и супруги владетельного лица, стихла перед небесной карой, которая, казалось, уже распростерла свои стрелы над ее головой. Она положила руку на плечо капеллана и сказала вполголоса:

– Ради бога, почтенный отец, говорите тише! Вас могут услышать часовые. Я не хочу верить, что вы будете столь жестоки и захотите поразить проклятием дом, в котором приняты так радушно. Вы несправедливо обвиняете жителей замка в отступлении от церковных и божеских законов. Назовите мне хоть одного из служителей, который сделал бы это безнаказанно, и я сейчас прикажу бросить его в тюрьму. Мой достойный супруг и я, разве не подаем мы им примера? Мы молимся утром и вечером, часовня наша всегда чиста и хорошо содержится, мы свято почитаем мощи, и при случае, как вам известно, мой почтенный отец, мы вовсе не скупы и приносим щедрую дань Богу и Его служителям! Итак, я надеюсь, мой достойный капеллан, что, если супруг мой, вынужденный крайностью, отбил воз с припасами, принадлежащими Солиньякскому монастырю...

– Солиньякскому! – повторил Готье с выражением неукротимой ненависти.– Точно ли вы сказали, что эти припасы принадлежат Солиньякскому монастырю?

Баронесса остановилась в недоумении, не зная, раздражит ли она или усмирит вспыльчивого капеллана подтверждением своих слов. К счастью, она тотчас вспомнила, что Солиньякское аббатство было с давнего времени в соперничестве с монастырем, в котором жил отец Готье до перехода своего в замок, и воспользовалась этим обстоятельством как нельзя лучше.

– Да,– отвечала она,– припасы эти действительно принадлежали Солиньякскому монастырю, и я не объявила вам этого прежде, потому что муж запретил. Впрочем, если верить молве, разорители этого аббатства будут только орудием небесного гнева, потому что солиньякские монахи пользуются самой дурной славой.

– Это справедливо, дочь моя, совершенно справедливо! – вскричал Готье голосом, дрожащим от гнева.—Это страшные еретики, недостойные святого звания, которым они облечены, и я не понимаю, как до сих пор высшее духовенство не поразило их стократ анафемой... Но,– прибавил монах, опомнившись,– не должно забывать, что они все-таки помазанники Божьи, и я не могу без наложения некоторого покаяния разрешить от греха тех, кто напал на них или их имущество.

Владетельница, весьма желавшая оставаться в добром согласии со своим исповедником, ничем ему не возразила.

– Всякое покаяние будет выполнено, мой достойный отец,– сказала она с видом готовности,– будет выполнено, даже если вы, в искупление этого греха, прикажете мне отправиться на поклонение Сен-Динанской Божьей Матери.

– Нет, покаяние это не будет столь строго и не падет на вас, благородная баронесса,– отвечал отец Готье с улыбкой.– Я не принадлежу к числу тех священников-ригористов, которые не принимают во внимание суровости и трудности настоящего времени и применяют закон не в смысле кротости и милосердия, но в его неизменном буквальном смысле. Я понимаю необходимость, налагаемую обстоятельствами, и, сколько можно, согласую божественные повеления с человеческой слабостью. Таким образом,– продолжал отец Готье, понизив голос,– я стал поверенным всех ваших тайн, и вы, конечно, не забыли неоднократные доказательства моей верности и преданности.

– Знаю, мой отец, знаю,– возразила донья Маргерита таинственным тоном,– вы первый открыли нам, что этот ребенок, Гийом де Латур, которого Валерия почитает себя наследницей, остался жив. Не получили ли вы каких-нибудь новых сведений об этом важном деле?

– Никакого, донья Маргерита. Я узнал подробности от послушника Шаларского монастыря, который доверительно сообщил мне, что в минуту разграбления аббатства он видел, как начальник английской шайки унес этого ребенка. Впоследствии ему стало известно, что этот капитан, имени которого он не мог мне сказать, с заботливостью воспитывал Гийома в какой-то дальней провинции. Но и англичанин и послушник умерли, и след ребенка, который теперь, конечно, вырос, исчез. Теперь только мы трое – ваш супруг, вы да я – знаем, что прямой наследник Латура жив еще.

– Храните свято эту тайну, отец мой,– сказала баронесса мрачным тоном.– Храните свято, считайте, что она была вверена вам на исповеди и что вечное проклятие ждет вас за ее разглашение. Мой достойный супруг не желает, чтобы кто-нибудь мог подозревать о существовании Гийома, иначе множество пройдох захотят назваться его именем и предъявить права на наследство. Но, несмотря на это, наша Валерия так горда и тщеславна, что, признаюсь, мне не раз хотелось открыть ей истину, чтобы сколько-нибудь усмирить ее неукротимый и надменный нрав.

– Справедливо, баронесса,– отвечал отец Готье,– молодая девушка своевольна и смела, и я боюсь, что вам не удастся ее смирить, особенно если обстоятельства станут ей благоприятствовать.

– Не можете ли вы, почтенный отец, помочь нам в этом деле? Если вы склоните эту маленькую амазонку пойти в Бубонский монастырь и принять обет монашества, вы окажете нам величайшую услугу.

– Конечно, дочь моя, тогда латурское поместье, находящееся недалеко от Монбрёна, станет вашим, так что никто не будет иметь право оспаривать его. Но, к несчастью, план этот нельзя привести в исполнение. Я уже говорил вашей благородной родственнице об этом предмете, и она сухо отвечала мне, что никогда не откажется от своих прав и не намерена принять обет монашества.

– Да, да! В жилах ее кипит кровь, которая ничем и никогда не охладится, даже монашеским покрывалом! – произнесла баронесса с горьким чувством, но не без некоторой гордости. – Однако, мой отец, неужели нет никакого средства усмирить эту мятежную голову? Ваше красноречие так могущественно, так убедительно!

– Попробую еще, донья Маргерита, но прекрасная Валерия более внимательна к вздору, который вычитывает из рыцарских романов или слышит от странствующих трубадуров, чем к советам служителя Бога. Это-то и губит ее. Боюсь, что мое человеколюбивое предприятие не удастся, потому что Валерия любит этого молодого человека, которого однажды встретила в лесу...

– Знаю, знаю, – отвечала баронесса глухим голосом, – и это-то больше всего беспокоит и оскорбляет меня и барона. Если Валерия выйдет замуж за подобного человека, все погибнет, и бог знает, какие несчастья обрушатся на наш дом! Но этому не бывать! Что бы то ни было, она за него не выйдет!

Этот разговор происходил вполголоса, несмотря на это, баронесса, от избытка осторожности, бросила вокруг себя быстрый взгляд, чтобы проверить, не может ли кто-нибудь услышать их. Тогда на некотором расстоянии она увидела Валерию, которая, склонившись над парапетом, казалось, подавала кому-то, бывшему вне замка, умоляющие знаки.

Это обстоятельство поразило баронессу и дало другое направление ее мысли. Она молча сделала знак капеллану следовать за собой, и оба тихонько направились к Валерии, желая узнать, к кому относилась ее пантомима.

Они подошли к углу крепости, не замеченные Валерией, и остановились в нескольких шагах от нее, за зубцом стены, так что им видно было все, что делалось в поле. Тогда, следуя по направлению тревожного взгляда Валерии, они убедились, что знаки ее относились к молодому человеку, стоявшему на наружном валу крепости и до половины скрытому остатками старого палисадника, отчего и не могли его до сих пор заметить часовые.

Этот молодой человек, так неблагоприятно игравший своей жизнью, потому что он был от замка ближе, чем на расстоянии полета стрелы, имел воинственный вид и, казалось, вовсе не думал об опасности, какой подвергал себя добровольно. Он был одет егерем, в коротком платье и в штанах из зеленого линкольнского сукна, на голове у него был простой ток³, а в руках – охотничья рогатина. По простоте наряда его можно было принять за одного из тех браконьеров, число которых благодаря внутренним и внешним войскам увеличилось тогда неизмеримо, но гордый вид и осанка незнакомца показывали в нем человека, привыкшего повелевать.

Увидев его, баронесса задрожала от гнева.

– Это он! – прошептала она. – Это тот смелый предводитель разбойников!.. Видана ли где-нибудь подобная дерзость?

В эту минуту Валерия, услышав за собой шум, быстро обернулась. В нескольких шагах от нее стояли баронесса и капеллан и со вниманием следили за незнакомцем. Легкий крик ужаса вырвался из ее груди, но прежде, нежели смогла она подать какой-нибудь знак смельчаку, стоявшему на наружном валу, громкий и резкий голос баронессы раздался над стенами крепости:

³ Небольшой головной убор без полей.

– Кто этот негодяй, поставленный часовым на северном бастионе? Клянусь Творцом, – продолжала баронесса, увидев воина в кольчуге, вышедшего из-за угла контрфорса, – это лентяй Симон Левша, и можно ли было в этом сомневаться! К оружию, бездельник! К оружию! Пошли этому бродяге стрелу в самый лоб! Иначе, клянусь душой моего повелителя, я заставлю тебя раскаиваться в твоей оплошности!

Воин, к которому относилась эта грозная речь и который, сказать правду, спал глубоким сном в ту минуту, когда зазвенел гневный голос баронессы, машинально схватил стрелу и вложил ее в лук. Следуя направлению, указанному его повелительницей, он, сам еще не зная, в чем дело, подошел к парапету.

Между тем незнакомец ничего не слышал и не видел из того, что происходило на стенах замка. Не зная, чему приписать внезапное исчезновение Валерии, он продолжал стоять на том же месте с током в руке и устремив взоры туда, откуда явилось ему милое личико молодой девушки.

Стрелок целился уже в него с высоты стен.

Увидев это, Валерия, которая до сих пор оставалась неподвижной от стыда и смущения, бросилась к нему и голосом, раздирающим душу, закричала:

– Несчастный! Что хочешь ты делать?

Но было уже поздно. Стрелок, спеша исполнить приказание баронессы, целился недолго. Натянутая тетива выпрямилась с глухим звоном, и стрела, образуя непрерывную белую линию, помчалась по данному направлению. Валерия, бледная, остановилась, не дыша, и снова наклонилась к парапету.

Вероятно, неожиданный крик ее помешал меткости Симона Левши: стрела его, вместо того чтобы попасть в грудь или голову незнакомца, упала со свистом у его ног. Валерия всплеснула руками, как бы благодаря судьбу за эту милость, и, собрав все свои силы, громко закричала:

– Бегите, сир капитан! Именем Бога, не оставайтесь дольше на месте, где угрожает вам такая опасность.

Но незнакомец с некоторой горделивой и щеголеватой беспечностью, бывшей тогда в большой моде, не сделал никакого движения, чтобы удалиться. Увидев Валерию, он замахал своим током и произнес несколько слов, конечно, не услышанных со стен замка, которыми, по всей вероятности, он изъявлял благодарность за участие, какое принимали в его судьбе.

Между тем баронесса, увидев неудачу Симона Левши, не успокоилась.

– Ах, негодяй! – закричала она в бешенстве. – Не попасть в этого бродягу с полуполета стрелы! Исправь свою ошибку, чучело! А мне еще говорили, что ты, при случае, можешь пощеголять луком или самострелом!

После этого баронесса, возвысив голос так, чтоб ее могли слышать люди, ходившие по внутреннему двору, на котором обыкновенно производились ристалища и все воинские упражнения обитателей замка, закричала повелительным тоном:

– На стены, ленники Монбрёна! На стены, все до одного! Дело касается чести ваших повелителей! Не шадите ни камней, ни стрел, чтобы наказать этого ослушника, дерзнувшего насмеяться над нами под самыми зубцами замка!

Услыша призыв, человек с двадцатью вассалов, рассеянных по двору, вооружась стрелами и дротиками, прибежали на стены. Донья Маргерита указала им неприятеля:

– Тому, кто свалит этого наглеца, я дарю шарф, вышитый собственной моей рукой, а муж мой наградит его больше.

Поощряемые таким обещанием, вассалы рассеялись по валу, ища места, откуда удобнее можно было бы стрелять в незнакомца. Копья и стрелы готовы были понестись на него тучей, но в ту минуту, когда большая часть воинов прицелилась, незнакомец исчез, как по волшебству. Маленькая неровность почвы смогла уберечь его от всякой опасности.

Вассалы и наемники в недоумении посмотрели друг на друга. Баронесса в ярости топнула ногой, а Валерия подняла взоры к небу.

– Он ушел! – вскричала донья Маргерита. – Барон не простит нам этого. Пусть десять человек садятся на коней и преследуют негодяя! Пусть приведут его живого или мертвого! Пятьдесят флоринов тому, кто возьмет его!

Сильное движение, обнаружившееся между защитниками замка, показало, что они готовы были тотчас исполнить приказание своей повелительницы. Но капеллан, остававшийся в продолжение всей сцены молчаливым и равнодушным зрителем, подошел к баронессе и сказал ей тихим голосом.

– Остерегайтесь, баронесса! Кто знает, этот молодой удалец, может быть, для того и пришел под стены вашего замка, чтобы вызвать погоню и потом навести ее на засаду? Капитан Доброе Копье со своими людьми – преопасный сосед, и я сомневаюсь, будет ли барону приятно узнать, что ему открыто объявили вражду.

– Не вмешивайтесь не в свое дело, – отвечала баронесса с досадой. – Но, – продолжала она, поразмыслив, – может быть, вы и правы, неблагоприятно подвергать наших людей опасности. Как ни тяжело оставлять обиду без наказания, но я прикажу им вернуться назад.

Вслед за этим баронесса сошла с вала и отменила данное приказание. В ту минуту, когда она опять подходила к отцу Готье, часовой, поставленный на верху главной башни, затрубил в рог особенным образом.

– Вот и мой повелитель! – вскричала она.

Лишь только последние звуки трубы достигли обширных дворов замка, толпы пажей, оруженосцев и простых воинов показались со всех сторон и весело направили шаги свои к валу.

– Да поможет нам святой Орельен! – говорил старый вассал, прихрамывая посреди своих товарищей. – Эмерик протрубил на веселый лад! Хороший знак! Держу пари, что барон едет с порядочной добычей! В добрый час! Я не отдам моей доли ни за десять эю!

Товарищи подтверждали это благоприятное предвещание и разбрелись по стенам, желая поскорее увидеть отряд, который показался в отдалении.

Валерия де Латур с того времени, как незнакомец исчез, оставалась неподвижной и, казалось, не принимала никакого участия во всем, что происходило вокруг нее. Донья Маргерита грубо взяла ее за руку.

– Милая племянница, – сказала она строгим тоном, – вы говорили и поступали нынче так, как неприлично говорить и поступать девушке высокого звания. Но вот едет мой благородный супруг, и ему принадлежит право судить вас. В ожидании этого ступайте в свою комнату и не показывайтесь. Нет никакой необходимости быть вам посреди всех этих воинов.

– Я исполню ваше желание, – отвечала Валерия, с достоинством освобождая свою руку, – не потому, что признаю ваше право приказывать мне, но оттого, что желание ваше соответствует моему. Хоть я и пленница в вашем замке, но знайте, я не признаю над собой других судей, кроме Бога и моей совести.

– Ступай, ступай, львица, мы сумеем усмирить тебя! – произнесла баронесса угрожающим тоном.

Валерия не удостоила ее ответом. Она позвала борзую, посадила к себе на плечо сокола и гордо пошла к своей комнате, не взглянув ни разу на отряд, приближение которого возвещено было звуком трубы. Впрочем, какая ей была нужда до всего остального, когда она видела того, за безопасность которого несколько минут назад дрожа молила небо!

Между тем барон де Монбрён и сир де Кашан ехали друг подле друга впереди колонны и разговаривали о военных подвигах. Такие важные особы считали для себя унижительным говорить, подобно молодым рыцарям, о прекрасных дамах или любовных интригах. Из уважения к их возрасту и званию трубадур ехал позади, отстав на корпус коня, и, казалось, придумывал какой-нибудь нежный сонет, способный смягчить сердце жестокой Валерии. Остальная часть

отряда следовала за ним в беспорядке, а спутники сира де Кашана сомкнулись в правильный взвод, что показывало в них хорошую военную выучку.

В таком продолжительном разговоре характер двух собеседников мог вполне обрисоваться. Барон, гордый, тщеславный, решительный, не сомневаясь ни в чем, выражал свои суждения о важнейших французских и английских воинах того времени с уверенностью, которая не допускала возражений, и каждый из его приговоров, казалось, гласил: «Право, я, барон де Монбрён, повыше всех этих храбрецов». Сир де Кашан, напротив, был очень осторожен при оценке достоинств современных знаменитостей. Он говорил мало, хотя необдуманные, резкие выражения барона не раз вызывали у него улыбку презрения или пламя гнева. Без сомнения, сир де Кашан лучше знал тех, о ком шла речь, чем барон, который, ограничившись тесным кругом своих владений, мог судить о важнейших событиях и лицах только по сомнительным рассказам трубадуров или нищенствующих монахов. Возможно, сир де Кашан не хотел вдаваться в подробности, могущие изобличить его, или в самом деле он от природы был малообщителен, только во все продолжение пути он довольствовался тем, что на все суждения барона отвечал утвердительными или отрицательными словами, и казалось, ему больше хотелось спрашивать, чем отвечать на вопросы.

Когда в отдалении показался замок Монбрён, сир де Кашан спросил у барона, не слышно ли каких-нибудь известий о Дюгесклене, который был тогда в Аквитании, и барон, пожимая плечами, отвечал, что этот столь прославленный Дюгесклен должен быть не совсем искусным полководцем, потому что не сумел заставить Черного Принца снять осаду с Лиможа. При этих словах огонь вспыхнул в глазах незнакомца, черные брови его сдвинулись под каской, и он готов был излить свое негодование, как вдруг барон, со свойственным ему самодовольством, указал на величественное здание, возвышавшееся в отдалении.

– Вот мой замок, сир де Кашан, – сказал он, – и так как я считаю вас опытным в военном деле и знатоком оборонительных средств, то мне очень приятно будет знать ваше мнение.

Эти слова, дав другое направление мыслям незнакомца, умили его гнев. Он быстро взглянул в ту сторону, куда указывал барон, и опытным взором стал рассматривать старинную крепость, в которой готовился провести ночь.

Это испытание было продолжительно и молчаливо. Сир де Монбрён украдкой наблюдал за рыцарем, желая по наружным признакам узнать его мнение о своем замке, но лицо Кашана было спокойно, и он продолжал наблюдать молча.

– Ну что же, мессир? – начал барон насмешливым тоном. – Думаете ли вы, что этот Дюгесклен приобрел бы себе такую огромную славу, если бы вместо этих каталонских и испанских лачужек ему пришлось брать приступом крепости, подобные моей?

Незнакомец прервал свои наблюдения и, обращаясь к своему собеседнику, грубо отвечал:

– Клянусь святым Ивом! Дюгесклен брал и не такие!

Но почти в то же самое время он прибавил голосом более мягким:

– Как бы то ни было, мессир, вы обладаете славной защитой, и за этими высокими стенами, с помощью Божьей и с несколькими сотнями добрых молодцов, можно устоять против целой английской армии.

– Это я и делаю, мессир! – отвечал барон с обычной гасконской хвастливостью. – Но вы еще ничего не видели. Здесь, в стороне от нас, в конце этого леса, у меня есть другой замок, расположенный на лучшем месте и лучше укрепленный, чем этот. Он называется Латур.

– В самом деле, он лучше укреплен? – спросил сир де Кашан с величайшим хладнокровием.

– Честное рыцарское слово. Но к чему этот вопрос, мессир?

– К тому, чтобы сказать, что тогда им обоим недостает одного, что могло бы сделать их неприступными.

– Чего же именно?

– Французского знамени на башнях и французского гарнизона, – отвечал Кашан с видом необыкновенного величия.

Барон сделал гневное движение, но в ту же минуту успокоился и отвечал с улыбкой:

– О да! Вижу, куда вы метите, сир де Кашан. Вы хотите, чтобы я променял свою беспокойную независимость на мирное рабство и в свои владения ввел чужеземцев, которые захотели бы царить в нем. Я не в претензии на вас за то, что вы следуете избранной партии, но ничуть не намерен спешить пристать к ней, а если когда-нибудь и пристану, так разве в случае крайности. До того же времени дороги к моему замку, как вы видите, не совсем проходимы для армии, замок укреплен хорошо, рвы глубоки, вассалы и наемники содержатся исправно, и тот, кто вздумает овладеть замком, понесет изрядный урон!

– А законное право, мессир? А религия, честь? – возразил Кашан, выпрямляясь в седле. – Хорошо ли прибегать к грабежу и искать добычи по дорогам, чтобы только иметь средства содержать гарнизон в замках, тогда как повелитель и законный государь ваш ничего больше не требует...

– О каком повелителе говорите вы? – с гордостью прервал барон. – Некоторые из здешних владельцев признают двоих. Я – ни одного.

– Я разумею мудрого короля Карла, мессир, и, несмотря на то, что принц Уэльский храбрый и честный неприятель, скажу, что эта страна не может иначе спастись, как только отдавшись королю Франции, своему законному государю. Послушайте, мессир, я стану говорить с вами откровенно, как следует истинному служителю лилий. Я плохой законник и лучше работаю мечом, чем языком, но намерения мой благи, и я всякому желаю добра по закону и справедливости. Неужели сердце ваше не обливается кровью при виде всех несчастий, причиненных нам англичанами с тех пор, как они ступили на французскую землю? Вассалы наши перерезаны, деревни выжжены или опустошены, и высокие владетели и бароны, как вы, например, желая сохранить свои замки, принуждены запираются в них с разорительной толпой воинов и подвергать опасности свою жизнь и состояние. Я не хочу оскорбить вас, но боже праведный! Неужели прилично честному рыцарю укрываться за стенами, подобно лисе в норе, или опустошать земли отсутствующих соседей в то время, когда государство в такой опасности, в какой оно еще не было со времени Карла Великого? Сир де Монбрён! Все, что я знаю о вас, заставляет меня думать, что вы храбрый и мужественный воин и достойны переломить копьё в честь доброго дела. Клянусь святым Ивом! Я хочу отвлечь вас от этой бесславной жизни и дать вам лучшую. Кричите со мной: Монжуа Сен-Дени! – и клянусь Богом, распятым на кресте, что вы найдете во мне друга, который пригодится!

Эта речь была проговорена мужественным и грубым тоном, не исключавшим, впрочем, в особенности к концу, некоторого мягкого чувства, и тот, кто произносил ее, казалось, вовсе не выжидал минуты, чтобы объявить свои правила, выраженные с такой энергией. Барон со своей стороны слушал его внимательно, хотя некоторые мысли и неприятно поражали его слух. Когда сир Кашан замолчал, Монбрён возразил ему с некоторой иронической вежливостью:

– Не сомневаюсь, что дружба ваша драгоценна, рыцарь. Несмотря на оскорбительные выражения, вырывающиеся при вашем разговоре, мне беспрестанно надо помнить, что вы мой гость и что понятия этой страны несходны с вашими. Но скажите, ради бога, откуда вы взяли, что законное право над нею больше принадлежит французскому королю, чем принцу Уэльскому или королю Английскому? Что касается нас, жителей Аквитании, нам так вскружили голову все эти договоры, нашествия и завоевания, что мы поистине не знаем, кого держаться, и принуждены равно ненавидеть англичан и французов, потому что и англичане и французы равно причинили нам много зла.

Незнакомец нетерпеливо возразил:

– Барон де Монбрён! Вы не так слепы, чтобы думать, что ваше независимое положение продлится долго. Война может окончиться, и тогда – достанется ли Аквитания французам или англичанам, – ваши замки все-таки должны будут сдаться сильнейшей стороне, а в таком случае...

– Так как вы, мессир, принимаете такое участие в моих интересах, – прервал Монбрён, понизив голос, – то признаюсь вам, я уже думал об этом предмете и решил, в случае неудачи, предложить некоторые условия победителю.

– Условия? – отвечал Кашан тем же голосом и оглядываясь вокруг, чтобы увериться, что его никто не услышит. – Итак, у вас есть условия, при которых вы согласитесь присягнуть в верности Карлу, моему государю? Говорите же их, не краснея. Без хвастовства скажу, я имею некоторый вес при парижском дворе или, лучше, хорош с некоторыми вельможами, пользующимися милостью короля. Скажите мне откровенно ваши условия, и если они таковы, каких следует ожидать от честного рыцаря, даю вам слово: их примут прежде, нежели мы успеем состариться на две недели.

При таком предложении барон не смог скрыть своего удивления.

– Клянусь святым Марциалем, – сказал он, – мне уже не раз приходило на ум, с того времени как я встретился с вами, что вы совсем не такой простой рыцарь, за какого себя выдаете, и ваш доверительный тон подтверждает мои подозрения. Но нужды нет! Кто бы вы ни были, я не скрою от вас своих намерений, потому что для меня нет в этом никакой нужды. Пусть знает их каждый! Я не боюсь никакого короля и поступаю по своей воле.

– Но скажите же мне скорее, при каких условиях согласитесь вы принять в ваши замки французский гарнизон?

– Во-первых, – начал беспечно барон, – что касается моих монбрёнских владений и славного замка, который вы видите перед собой, я не буду слишком взыскателен. Я потребую только, чтобы знамя мое развевалось на одинаковой высоте с королевским и чтобы вассалов моих и наемников не тревожили по случаю кой-каких проступков, в которых провинились они в давнее время.

– Неприлично, – отвечал сир де Кашан, – чтобы знамя барона возвышалось наравне со знаменем его государя. Что же касается прощения ваших вассалов, я думаю, что его можно будет получить без затруднения. Само собой разумеется, что оно распространится и на ваши проступки, настоящие и прошедшие...

– Кто вам сказал, что я нуждаюсь в нем? – прервал Монбрён с надменным видом. – Кроме Бога, я никому не обязан отчетом в своих делах, дурных или хороших, и не потерплю...

– Не считайте худыми мои намерения, сир. Кажется, вы еще не сказали мне главного, и я прошу вас продолжать.

– Справедливо, рыцарь, но, чтобы вы могли лучше понять то, чего я требую, надо знать, по какому праву в настоящее время владею я замком Латур. Это прекрасное имение перешло в мой род от родственников моей жены, доньи Маргериты де Комборн. Последний из Латуров, барон Жоффруа, погиб в сражении при Пуатье шестнадцать или семнадцать лет назад, оставив единственным наследником по прямой линии трехлетнего ребенка, который был отдан на воспитание в Шаларский монастырь, находящийся неподалеку отсюда близ города Сен-Прие. К несчастью, спустя некоторое время после этого сражения монастырь был разграблен англичанами, и ребенок исчез. Все заставляет думать, что он погиб, потому что кровопролитие в монастыре было ужасное, и никогда никто потом не имел никаких известий об этом мальчике...

– И имение перешло в руки вашей благородной супруги? – прервал с нетерпением Кашан.

– Нет, мессир, – возразил Монбрён, кусая губы, – если б это было так, мое право не было бы сомнительно. Но имение перешло к девице Валерии де Латур, двоюродной сестре погибшего ребенка, и мы с женой, как опекуны, владеем упомянутым замком.

– Я не большой законник, мессир, но мне кажется, что замок, о котором идет речь, есть только залог, оставленный в ваших руках, и так как законный наследник погиб, то вы должны будете утвердить имение за вашей благородной питомицей Валерией, лишь только она потребует этого.

– В этом-то и затруднение,– отвечал барон озабоченным тоном,– эта молодая девушка беспокойного характера и совершенно неспособна сама управлять и защищать свои владения в такое смутное время.

– Я понимаю опасность, угрожающую вам, но что же делать? Права вашей племянницы на замок Латур ясны и неоспоримы.

– Права! Права! – с досадой повторил Монбрён.– Клянусь душой моего отца, да почиет она в царствии небесном, неужели вы думаете, что я не имею некоторых прав на это имение? Почти целых двадцать лет я был единственным стражем замка и земель и, с опасностью для собственной жизни, защищал их от англичан и французов, от бретонцев и разных бродяг и разбойников. Почти целых двадцать лет содержал я в замке за свой собственный счет сильный гарнизон из вассалов и наемников, между тем как имение не приносило мне ничего. Словом, мессир, я не намерен лишиться плода столь долгих и многочисленных жертвований, и если соглашусь стать чьим-нибудь вассалом, то прежде всего потребую от моего государя, чтобы собственность Латурского замка и все земли его были навсегда утверждены за мною и моими наследниками, с условием, что питомица моей супруги будет вознаграждена соответственно моему великодушию.

Во время этого разговора рыцари ехали тихим шагом. Жераль и остальные воины, видя, что разговор начальников принял серьезное направление, следовали за ними на почтительном расстоянии. Оба отряда продвигались вперед очень медленно, тем более что дорога шла вверх по довольно крутому холму, на отлогостях которого были разбросаны необитаемые лачужки монбрёнской деревни.

В ту минуту, когда барон открывал своему гостю условия, на которых он согласился бы признать над собою власть французского короля Карла V, оба отряда достигли первых хижин деревни. Эти хижины были в самом жалком виде: заброшены, разорены, готовые разрушиться, почерневшие от дождей и пожаров. Несмотря на то, заборы, окружавшие каждую из них, указывали еще на некоторую жизнедеятельность, ибо прежние хозяева этих хижин выходили иногда из замка и занимались земледелием, как могли. Мужчины и женщины, дети и старики – все искали спасения за высокими стенами замка, и мертвая тишина воцарилась на улицах опустевшей деревни.

Сир де Кашан так глубоко был занят признанием, которое сделал ему барон де Монбрён, что и не заметил опустошения местности, по которой проезжал. Казалось, ум его, немного медлительный, но правдивый и прямой, затруднялся понять смысл слов, поразивших его ухо.

– Действительно ли, рыцарь,– спросил он наконец,– ваша благородная питомица добровольно согласится уступить вам свое имение за известную сумму денег или другое какое-нибудь вознаграждение, которое вы ей предложите? В таком случае могу вам ручаться, что Карл Пятый, наш король, охотно утвердит за вами Латур с его землями.

– Вот что! – произнес барон с громким хохотом.– И неужели, дружище, вы в самом деле думали, что если б я мог приобрести законный акт на имение Валерии де Латур, подписанный ее рукой, то стал бы нуждаться еще в грамоте какого бы то ни было короля, чтобы считать себя законным владельцем этого имения? Я сказал вам всю истину, рыцарь де Кашан. Племянница моя не из числа тех, кого можно легко убедить. Она горда, упряма и воображает, что может управлять целым государством, не размышляя о том, как трудны и опасны времена, в которые живем мы. Поэтому все мои намерения склонить ее на уступку мне своих прав оказались безуспешны. Я употреблял кротость, позволял ей в моем замке исполнять все свои прихоти и часто оправдывал ее пред доньей Маргеритой, моей достойной супругой, с прискорбием

видевшей подле себя женщину, власть которой почти равнялась ее собственной. И, несмотря на это, я не мог приобрести привязанности моей питомицы. Она ненавидит меня за то, что я не позволяю ей рыскать по полям с соколами и искать приключений, и утверждает, что ее держат в замке пленницей. Как будто можно позволить девице высокого звания ездить одной по полю в то время, когда столько разной сволочи, бродяг и разбойников шляется по всей стране! Она уже имела подобную встречу один раз, когда, желая склонить ее на мои предложения, я отпустил ее на охоту в сопровождении двух оруженосцев. Из этого легко заключить, что может случиться, если какой-нибудь отчаянный смельчак увезет ее и потом станет предъявлять свои права на Латур. Война возгорится нескончаемая. Вот почему я хочу скорее закончить это дело, и, так как племянница упорствует, мне нужно постороннее утверждение актов на это спорное имение. Тогда, при помощи, например, королевских грамот, я сумею воспротивиться Валерии или всякому другому лицу, которое дерзнет предъявлять свои права на Латур.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.